

В. Ф. Булгаков

КАК ПРОЖИТА ЖИЗНЬ

Воспоминания
последнего секретаря Л. Н. Толстого



Валентин Федорович Булгаков

Как прожита жизнь.

Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17190423

*Как прожита жизнь. Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого / В. Ф. Булгаков: Кучково поле; Москва; 2012
ISBN 978-5-9950-0273-4*

Аннотация

Воспоминания В.Ф.Булгакова, секретаря Л.Н.Толстого в 1910 г. написаны в 1946-1961 гг. Этот объемный труд (26 частей) публикуется впервые. В нем прослежен весь жизненный путь выдающегося деятеля культуры, литератора В.Ф.Булгакова, включая описание его детства в Сибири, учебы в Московском университете, жизни в Ясной Поляне в последний год жизни Толстого, работы хранителем Толстовского музея, общения с семьей великого писателя и его последователями, высылки из Советской России на "философском пароходе" в 1922 г., жизни в эмиграции, создании им Русского музея в Праге, пребывании в гитлеровских концлагерях, возвращении в 1948 г. в СССР и работы в Музее Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. В настоящем издании печатается 5 избранных частей, имеющих отношение к

Толстому и охватывающих события 1910 г. и последующих лет перед высылкой В.Ф.Булгакова за границу.

Составители Л.В. Гладкова, Дж. А. Вудсворт, А.А. Ключанский.

Содержание

От редактора	6
О жизни, прожитой В. Ф. Булгаковым	10
Часть I	63
Глава 1	63
Глава 2	99
Глава 3	131
Глава 4	160
Глава 5	180
Конец ознакомительного фрагмента.	181

Валентин Булгаков
Как прожита жизнь.
Воспоминания последнего
секретаря Л. Н. Толстого

Slavic Research Group at the University of Ottawa

(Группа славянских исследований при Оттавском университете)

Российский государственный архив литературы и искусства

Государственный музей Л. Н. Толстого

От редактора

Существующая литература о Л. Н. Толстом необозрима, однако наследие писателя остается изученным еще далеко не полностью. Изменение ситуации в России на рубеже веков открыло перед исследователями новые перспективы. Печатаются работы, которые не так давно считались запретными. Большие возможности открываются в связи с активизацией сотрудничества между российскими и зарубежными научными центрами. Расширение документальной базы неизбежно вносит много нового в наше понимание личности и творчества великого писателя, а также его окружения и позволяет изучать ранее не исследованные области. Все это, являясь для специалистов источником огромного удовлетворения, требует от них в то же время и свежего взгляда на наследие писателя, равно как и на сложившиеся традиции изучения его жизни и творчества. Это в полной мере относится и к взаимоотношениям Л. Н. Толстого и В. Ф. Булгакова.

Настоящая публикация – В. Ф. Булгаков, «Как прожитая жизнь. Воспоминания» – представляет собой десятый том нашей Толстовской серии и является продолжением многолетнего сотрудничества Группы славянских исследований (SRG) при Оттавском университете в Канаде, Государственных музеев Л. Н. Толстого в Москве и в Ясной Поляне, Института мировой литературы Российской Академии Наук,

Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Второй том булгаковских рассуждений «В споре с Толстым. На весах жизни» намечен к публикации совместно с Российским государственным архивом литературы и искусства (РГАЛИ) в 2013 году.

Работа Булгакова над этими рукописями продолжалась в течение долгого времени – с 1932 по 1964 год. В них можно наблюдать все большее развитие свойственного Булгакову чувства объективности и его отход от некоторых из наиболее радикальных моментов религиозных взглядов Толстого, в особенности – готовности последнего целиком предаться духовному самосовершенствованию в ущерб гармоничной связи с некоторыми из физических сторон человеческой жизни. Данная доктрина, по мнению Булгакова, могла оторвать личность и все человечество от его глубинных земных корней. Булгаков не соглашался с Толстым в том, что источники зла нужно искать по большей части во внутреннем мире личности, и настаивал, что следовало уделять внимание в равной степени и проблемам общественного устройства.

В противоположность Толстому, Булгаков поддерживал роль государства как силы, сдерживающей негативные импульсы, присущие членам общества и проявляющиеся в анархических тенденциях.

Подготовка публикуемых материалов по самой их природе потребовала значительных совместных усилий, предпринятых участниками проекта как в России, так и в Канаде. Мы

выражаем сердечную благодарность РГАЛИ и прежде всего его директору Т. М. Горяевой за предоставленный ценный материал, впервые появившийся здесь в печати, Государственному музею Л. Н. Толстого в Москве, В. С. Бастрыкиной и Г. В. Алексеевой, Музею Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Мне хотелось бы лично поблагодарить заведующую Отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН, д. ф. н. М. И. Щербакову за ее ценные советы и неизменную поддержку.

Работа, проведенная составителями этого тома: Л. В. Гладковой, Дж. А. Вудсвортом, А. А. Ключанским, отличается, как и в прежних их исследованиях, скрупулезной точностью и высоким качеством. Несомненно, данное издание могло быть подготовлено к выходу в свет только коллективными усилиями. Большая благодарность также Светлане Астачкиной за ее ценный вклад в этот совместный труд.

Данная работа не могла бы быть успешно завершена без моральной и финансовой поддержки, которая была оказана Канадским советом по исследованиям в области социальных и гуманитарных наук (SSHRC), а также генеральным директором издательства «Кучково поле» Г. Кучковым, за что выражаю искреннюю признательность.

Декабрь 2012 года.

А.А.Донсков

действительный член Канадского королевского общества,
заслуженный профессор, директор Группы славянских ис-
следований при Оттавском университете (Канада)

О жизни, прожитой В. Ф. Булгаковым

I

Валентину Федоровичу Булгакову, родившемуся в 1886 году, когда еще продолжался период так называемого «религиозного и нравственного кризиса» Л. Н. Толстого, было уготовано судьбой на закате жизни великого писателя (в 1910) сделаться его последним личным секретарем, сменив на этом посту Н. Н. Гусева (1882–1967), отправленного в ссылку за распространение запрещенных в Российской Империи произведений Толстого. Впервые молодой Булгаков посетил Толстого в 1907 году. А к концу 1909 года он уже завершил свой первый большой труд, ставший впоследствии широко известной книгой «Христианская этика: Систематические очерки мировоззрения Л. Н. Толстого». Это был первый опыт систематизации взглядов Толстого на основе выдержек из его сочинений. Он получил полное одобрение самого писателя¹. В период своей работы секретарем Толстого

¹ В письме к издателю книги В. Ф. Булгакова «Христианская этика» от 27 марта 1910 года Л. Н. Толстой писал: «Милостивый государь! Исполняя желание автора сочинения «Христианская этика» (Систематические очерки мировоззре-

Булгаков активно участвовал в составлении собраний мудрых изречений известных исторических лиц, которые Толстой издавал в 1910 году под заглавиями «Путь жизни»² и «На каждый день. Учение о жизни, изложенное в изречениях». В 1911 году (вскоре после смерти учителя) вышло в свет «Жизнепонимание Л. Н. Толстого в письмах его секретаря»³, куда вошли письма, написанные Булгаковым-секретарем по поручению Толстого.

В том же 1911 году была опубликована важнейшая работа (Л. Н. Толстого) В. Ф. Булгакова, уведомляю вас, что сочинение это мною внимательно прочитано и что я нашел в нем верное и очень хорошо переданное изложение моего религиозного мирозерцания».

² Оценку Булгаковым «Пути жизни», над которым он работал вместе с Толстым и под его руководством, см. на с. 79–88 в работе «Толстой-моралист», а также в разделе «*Техническое участие в составлении сборников Л. Н. Толстого* «На каждый день» и «Путь жизни» в главе 1 части IV «Как прожита жизнь».

³ Вот оглавление этой работы: 1. Необходимость религии. 2. Бог. 3. Назначение и смысл жизни. 4. Труд. 5. Отношения мужчины и женщины. 6. Наука и образование. 7. Общественная и политическая деятельность. 8. О влиянии на других. 9. Нравственное усилие. Письма, составившие эту книгу, были написаны Булгаковым по поручению Л. Н. Толстого в ответ на запросы обращавшихся к нему лиц с января по октябрь 1910 года. Эти письма представляют интерес как с точки зрения уточнения деталей биографии Толстого, так и для лучшего понимания его мировоззрения. Кроме того, они показывают, насколько верно молодой секретарь понимал мысли великого писателя и сколь его собственное мировоззрение было созвучно толстовскому. Важно помнить, что Толстой сам читал и редактировал эти письма. Ко многим из них сделаны такие приписки: «В. Ф. Булгаков совершенно верно выразил то самое, что я хотел и мог сказать вам. Очень рад буду, если вы согласитесь с нами. Л. Толстой» (с. 31). В части «Ясная Поляна» книги «Как прожита жизнь» Булгаков пишет о своей помощи Толстому в ведении корреспонденции.

та Булгакова, ставшая его колоссальным вкладом в толстоведение: яснополянский дневник за 1910 год «Л. Н. Толстой в последний год его жизни». Здесь Булгаков сумел с непревзойденной объективностью и тактом описать сложные взаимоотношения Л. Н. Толстого с родными, близкими и последователями в последние месяцы жизни писателя. Многие записи Булгакова, сделанные, как говорится, по горячим следам, в дальнейшем позволили биографам Толстого уточнить целый ряд дат и деталей взаимосвязанных событий. Книга, вышедшая впервые на следующий же год после смерти Толстого, переиздавалась в 1918 и 1920, а впоследствии в 1957 и 1989 годах⁴. Правда, в первых трех изданиях Булгаков, как он сам отмечал впоследствии, несколько идеализировал своего кумира и проявил излишнюю снисходительность к собственному увлечению идеями «толстовства». В результате этого, а также и из понятных соображений такта он был вынужден отказываться от упоминания многих деталей, касавшихся остававшихся в живых членов толстовского круга, и в первую очередь не хотел задеть чувства членов семьи писателя. Однако впоследствии многие из этих деталей были включены Булгаковым в его работу «На чужой стороне» (1924), а

⁴ См. библиографию в конце настоящего издания. Булгаков тщательно собирал печатные отзывы о своей работе. Он отмечал не только названия периодических изданий, даты публикаций и номера страниц, но нередко перепечатывал рецензии или делал их краткое изложение, часто сопровождая это своими собственными комментариями и пояснениями. Весь этот обширный материал остается неопубликованным и продолжает дожидаться своего часа.

также в вышедшую в 1928 году книгу «Трагедия Льва Толстого».

Булгакову выпало жить и работать в Российской империи, в Советской России, на Западе и, наконец, вернуться в СССР. Вероятнее всего, он является единственным человеком, которому довелось внести существенный вклад в толстоведение по обе стороны «железного занавеса». Он имел возможность ознакомиться с самыми разными, зачастую весьма противоречивыми взглядами и при этом активно отстаивать свою точку зрения. Правда, при анализе некоторых из его поздних публикаций следует принимать во внимание требования официальной советской идеологии.

Очень важно, что Булгаков, глубоко уважая Толстого как человека и мыслителя и преклоняясь перед его художественным талантом (в свою очередь он также пользовался в уважением и благосклонностью яснополянского старца в период их личного знакомства), сумел сохранить и проявить замечательную объективность в оценке этого великого человека и не утратил свободы собственного мнения. Хотя подобные качества представляются совершенно естественными и даже обязательными для исследователя, следует помнить, что они были необычными (и даже непринятыми) в среде ближайших почитателей Толстого. Здесь снова можно говорить об уникальности положения Булгакова, что определяет его значимость как исследователя жизни, идей и творчества Толстого, а также позволяет вынести заключение о масштабе его

собственной личности.

Булгаков посвятил Толстому и толстоведению практически всю свою жизнь. Проработав несколько лет в Ясной Поляне, он в 1916 году встал во главе музея Толстого в Москве. При этом он не прекращал участвовать в распространении толстовских идей ненасилия и был самым активным образом вовлечен в движение сторонников мира (как в Российской империи, а затем в Советской России, так и на международной арене). В период Первой мировой войны это привело к аресту его царской полицией, а в послереволюционный период – к высылке советскими властями из СССР в 1923 году за границу (в Прагу), где он продолжал писать и публиковать работы о Толстом. Булгаков возвратился в СССР в 1948 году и вновь оказался в своей любимой Ясной Поляне, где проработал до выхода на пенсию (1959) и затем остался жить до самой смерти. Скончался В. Ф. Булгаков в 1966 году.

Именно в годы вынужденной эмиграции Булгаков начинает работать над двумя рукописями, которые сегодня стали предметом обширного исследования. Частью его является и настоящая публикация. Речь идет о следующих его трудах: монументальные мемуары «Как прожита жизнь» и аналитическая и философская работа «В споре с Толстым. На весах жизни»⁵. Много лет – с 1932 по 1964 годы – посвятил Булга-

⁵ Машинопись с правкой автора. РГАЛИ. 1964. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 134. 306 л. Булгаков работал над этой рукописью с 1932 г. В первой главе, под заглавием «Нерушимое» (другие заглавия: «Дух и материя», «Мужчина и женщина», «Смысл культуры», «Государство», *Summum bonum*, «Смена поколений»),

ков работе над этими произведениями. Обе эти работы отличает присущая ему объективность суждений. В то же время они свидетельствуют о его постепенном отходе от наиболее радикальных положений мировоззрения Толстого, которые всегда, даже в молодые годы, вызывали у него сомнения. Особенно скептически относился Булгаков к преувеличению необходимости духовного самосовершенствования и акцентированию этой стороны жизни в ущерб материальным потребностям человека. Такая позиция виделась Булгакову как прискорбный отрыв личности от твердых земных корней. Он оспаривал высказывавшееся порой Толстым утверждение, что зло заключается лишь в самом человеке, придерживаясь мнения, что следует уделять более серьезное внимание негативной роли социальных проблем, наблюдаемых в социальной сфере и в сфере общественного устройства. В противоположность Толстому, Булгаков считал, что роль государства – пресекать порочные действия членов социума, признавал реальную опасность анархии.

На протяжении всей своей жизни Булгаков вел обширную

он (отчасти, вероятно, надеясь опубликовать книгу и отдавая должное советской идеологии, но, несомненно, и в качестве отражения собственных раздумий) действительно спорит со многими важнейшими идеями своего учителя. Вот как он оправдывает свою позицию: «Книга эта возникла в результате долгого внутреннего спора со Львом Толстым-мыслителем, влияние которого глубоко было пережито автором. Оно не изжито им и теперь; то благотворное, что было в этом влиянии, остается. Пути души увели, однако, автора от одностороннего спиритуализма и индивидуализма к более реалистическому, а в то же время и более гармоническому, «приемлющему мир», общественному жизнепониманию» (л. 1).

переписку с широким кругом корреспондентов, среди которых можно назвать имена М. И. Цветаевой, Н. К. Рериха, Р. Роллана, А. Эйнштейна и многих других выдающихся деятелей культуры XX столетия. Переписывался Булгаков и с канадскими духоборами, общине которых Толстой помог эмигрировать из Закавказья в Канаду в 1899 году. Именно по личной инициативе Булгакова община канадских духоборов в 1932 году была официально принята в «Интернационал противников войны» (War Resisters' International).

II

Учитывая важность упомянутых выше двух крупных работ Булгакова, заслуживающих самого пристального внимания исследователей, представляется несколько даже неожиданным, что ни одна из них (как, впрочем, и большая часть его эпистолярного наследия) до сих пор не была опубликована даже на русском языке (не говоря уже о переводах). Мало того, ни чрезвычайно насыщенная жизнь Булгакова, ни его весьма неординарная личность не стали объектом более или менее всестороннего исследования ни в его родной стране, ни за рубежом. (Здесь, конечно, нельзя не отметить нескольких серьезных работ, которые, однако, просто в силу своего объема не могли охватить тему с достаточной полнотой – см. ниже.) Такой парадокс отчасти объясняется тем, что Булгаков, будучи сам по себе интересной личностью, в равной сте-

пени был связан с различными идейными традициями, но в то же время не принадлежал ни к одной из них безраздельно. Хотя советские власти и дозволили ему работать в Ясной Поляне, а затем благополучно окончить жизнь вблизи столь дорогого ему места, официальная доктрина не только воспрепятствовала ему в полномасштабном завершении начатых за границей работ, но и не поощряла интереса молодых исследователей к этой основной стороне его деятельности. Ученые же за границей не имели доступа к архивам Булгакова, многие из которых к тому же оставались в частных собраниях.

Следует также отметить, что отзывы о большинстве работ Булгакова, опубликованных до 1923 года, сводятся большей частью к кратким биографическим справкам или к редким их упоминаниям в газетных публикациях. Основное внимание неизменно привлекал его яснополянский дневник, опубликованный в 1911 году под названием «Л. Н. Толстой в последний год его жизни». Даже работы о Булгакове, появлявшиеся в советское время и постсоветский период, хотя и были более содержательны, все же в большинстве своем сводились к газетным публикациям и кратким отзывам на книги. Существенным исключением здесь являются следующие публикации:

а) отзыв Н. К. Гудзия на «Поправки Толстого в издании

«Власть тьмы» Булгакова⁶, опубликованный в «Литературном наследстве» (1961) под заглавием «По поводу сообщения В. Ф. Булгакова»;

б) статья И. Грызловой «Он любил и помнил Толстого (Воспоминания о В. Ф. Булгакове)» (1998);

в) статья Т. К. Поповкиной «Вспоминая В. Ф. Булгакова» (2003).

Последние две публикации хорошо отражают сложившееся в научной среде мнение о Булгакове как об увлеченном, знающем и трудолюбивом архивисте – человеке доброжелательном и скромном, но одновременно профессионально требовательном к своим коллегам по работе.

Еще три публикации заслуживают особого внимания и являются редкими предпринятыми до сего времени попытками подойти к личности и деятельности Булгакова более серьезно и систематически:

а) вступительное эссе А. И. Шифмана «Воспоминания секретаря Льва Толстого» в книге В. Ф. Булгакова «Лев Толстой, его друзья и близкие. Воспоминания и рассказы» (Тула: Приокское книж. изд-во, 1970. С. 5–23). Несмотря на то, что содержание эссе относится главным образом к последнему году жизни Толстого, оно также содержит прекрасное

⁶ См. полные ссылки в библиографии в конце книги.

описание некоторых основных моментов жизни самого Булгакова.

б) обширное (на 40 страницах) введение С. А. Розановой к вышедшему в 1987 году переизданию яснополянского дневника Булгакова 1910 года «Л. Н. Толстой в последний год его жизни». В нем дается подробный разбор как деловых, так и личных взаимоотношений Булгакова с Л. Н. Толстым, С. А. Толстой и некоторыми другими членами непосредственного толстовского окружения. Следует заметить, что в силу обозначенной темы данная работа в основном освещает только один год жизни Булгакова вблизи Толстого;

в) опубликованная в 2002 году статья (15 страниц) В. Н. Абросимовой и Г. В. Краснова «Последний секретарь Толстого. По материалам архива В. Ф. Булгакова». Эту работу отличает пристальное внимание к деятельности Булгакова вне Ясной Поляны как в России, так и в годы пребывания за границей. Характерно, что в заключительной фразе статьи о неопубликованной рукописи Булгакова «Как прожита жизнь» говорится следующее:

«Однако до сего времени этот главный труд жизни В. Ф. Булгакова, отредактированный автором и полностью подготовленный им к публикации, труд, охватывающий огромный пласт русской культуры за первую половину XX века, все еще ждет своего издателя» (с. 59).

За истекшие десять лет так и не появилось ни издателя,

который был бы готов опубликовать этот труд Булгакова целиком, ни сколько-нибудь глубоких новых исследований о Булгакове. Это достаточно прискорбно, и упрек в данном случае можно адресовать в равной степени как российскому толстоведению, так и научным школам за рубежом. Тем важнее было бы осуществить хотя бы частичную публикацию этого материала с целью ввода его в научный оборот и одновременно привлечения к нему внимания широких кругов научной общественности и всех, интересующихся русской культурой, литературой, Толстым и его наследием.

III

Булгакова влекло к Толстому, которого он трактовал, скорее, как религиозного писателя, а не как резонерствующего моралиста. Учение Толстого он находил разумным, свободным от шелухи неправдоподобного чудотворчества, «необычайно стройным и последовательным». В главе «Нерушимое» («В споре с Толстым. На весах жизни»), незадолго до своей смерти, он бросит ретроспективный взгляд на свое прежнее мировосприятие и на дарованное ему Толстым избавление от разочарованности и нравственной растерянности:

«...в детстве – чистая православная вера, в 15–16 лет, до поступления в университет, полоса безверия, в университете – увлечение философией, не принесшей удовлетворения ду-

ше». «Обманутый в своих ожиданиях и официальной религией, я был как человек, брошенный на дно пропасти, перед которым убрали сначала одну, а потом и другую лестницу, сулившую ему надежду на спасение, и которому оставалось только впасть в полное отчаяние. Из этого положения вывел меня Л. Н. Толстой, показавший мне новый путь: путь религии разумной, религии, отказавшейся от суеверия, от всяких произвольных метафизических построений, от обожествления Иисуса, от храмов, обрядности, церковной организации и всякого культа. И отойдя сейчас во многом от Толстого, я этого основного пути – разумно-религиозного пути – не покидаю до сих пор».

Булгаков приводит толстовское высказывание, которое считает самым точным определением религии:

«Религия есть такое согласное с разумом и знаниями человека отношение его к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его с этой бесконечностью и руководит его поступками» (л. 3)⁷.

Булгаков весьма близок к взглядам Толстого и, скорее всего, отчасти находится под его непосредственным влиянием, когда пишет о «собственном» понимании официальной религии и наиболее распространенных религиозных верований, а также о своем отношении к ним. В докладе, прочитанном им на публичном диспуте с проф. М. А Рейснером в

⁷ В споре с Толстым. На весах жизни. РГАЛИ, 1964. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 134. Глава 1: «Нерушимое».

Москве 7 апреля 1920 года (впоследствии изданном в виде брошюры под заглавием «Бог как современная основа жизни». М., 1921)⁸, он излагает свое религиозное кредо:

«И вот, с самого начала я должен заявить, что я вполне отрицаю церковное понимание Бога как личности и религии, как культа. Я совершенно определенно смотрю на то и на другое, как на суеверие, которое не может уложиться в голове современного человека. На Библию, и в том числе на Евангелие, я не смотрю как на боговдохновенный памятник, в котором каждая буква священна и неприкосновенна. И по отношению к книгам Ветхого Завета, и по отношению к тому, что написано после Христа, я вполне допускаю критический анализ, на основании которого и можно, и должно отделить то, что есть ложь, басня, суеверие, какая-нибудь грубая, хотя, может быть, и древняя, еврейская легенда, от того, что есть истина, что глубоко, поучительно и прекрасно. Далее, я отрицаю общее всем церквям представление о Христе как о Боге, – равно как совершенно чужды мне представления других религий – буддизма, магометанства, конфуцианства и т. п. – об основателях этих религий, как особых существах, «Богам» или пророках, сверхъестественным образом родившихся в человечестве или посланных в него персонально для выполнения особых задач по велению свыше, из какого-то особого, потустороннего мира. Подобное обо-

⁸ В. Ф. Булгаков подробно описывает «религиозные диспуты» в главе 6 части «В эпоху Октябрьской революции» книги «Как прожита жизнь».

жествление церквами той или иной исторической или легендарной, хотя бы и очень высокой, личности представляется мне только хитрой уловкой к тому, чтобы, сославшись на попустороннее, сверхъестественное происхождение и значение того или иного лица, дать себе и другим возможность уклониться от нравственного обязательства походить в чем-либо на это лицо, следовать его примеру, уподобиться ему высотой и чистотой своей жизни» (с. 3–4).

Очень важным источником сведений как о восприятии Булгаковым жизнепонимания Толстого, так и о его собственных идеях является его книга «Толстой-моралист» (1921). Тут Булгаков прослеживает основные этапы духовной эволюции Л. Н. Толстого. Он спорит с расхожим мнением о том, что было как бы «два Толстых»: Толстой-художник и Толстой-философ – и что можно признавать одного и отрицать другого. Булгаков прослеживает общие черты в Толстом-художнике и Толстом-мыслителе, отыскивает то однородное начало, то единое лицо, которое позволяет в равной степени безошибочно узнавать одного и того же человека в Толстом-юноше, Толстом-муже и Толстом-старце. Что в них общего и когда это общее впервые проявилось в Толстом, когда и как достигло наиболее яркого выражения? Общее, по наблюдению Булгакова, это религиозные искания и сознание необходимости основывать свою жизнь на внутренних связях с Высшим Духовным Существом – Богом. Булгаков рассматривает эти вопросы на материале художественных про-

изведений и философско-религиозных трактатов Толстого.

В книге он привлекает особое внимание к «необходимым подробным и точным уяснениям религиозно-нравственного» жизнепонимания Толстого, как оно сложилось у самого Льва Николаевича в последние годы его жизни и работы. Это особенно важно в целях «разбить те ложные суждения о нем, которые приходится встречать на каждом шагу».

Основываясь на этих положениях, Булгаков пытается уяснить сам и разъяснить другим суть последней фазы духовного развития Толстого. Он предлагает следующие тезисы:

«1. Идеал недостижим.

2. Свобода – только в области духовной.

3. Всякое движение и всякий прогресс в материальной области, в области внешних изменений основателен и законен только в том случае, когда он является результатом изменений во внутренней, духовной области.

4. Внешние поступки сами по себе безразличны, важно то духовное состояние, которое их порождает.

Беря самое широкое и общее определение, можно сказать, что Толстой пришел к признанию, к утверждению (если можно только допустить такое выражение) *религиозно-го субъективизма*. Он поставил центром бытия духовную жизнь человеческой личности в ее непрерывающей связи с Богом как высшим духовным началом, – другими словами: *человека*, в высшем и лучшем значении этого слова.

Все дальнейшее – и даже говоря общее, *духовное* – творчество Толстого заключается именно в развитии тех основных точек зрения, которые мы здесь наметили. Вне этих *точек зрения* Толстой как религиозный тип, как мыслитель, как основатель нового учения не постигается.

Этот последний, вполне обоснованный Толстым фазис его духовной эволюции и представляет по всей справедливости его *подлинную духовную физиономию*, с которой он предстанет перед историей мысли – для нас, и перед Богом – для своей души» (с. 52–53).

Для лучшего понимания духовно-нравственных взглядов позднего Толстого на жизнь Булгаков рекомендует читателю ознакомиться с письмами яснополянского мыслителя 1890-х и начала 1900-х годов, где писатель выражал свои убеждения в наиболее прямой, открытой и доступной форме. Булгаков также подчеркивает, что, по его мнению, знакомство со сборником «Путь жизни» имеет первостепенное значение для правильной оценки мировоззрения Толстого.

В продолжение своей собственной длительной писательской жизни Булгаков неизменно вновь и вновь возвращался мыслями в беспокойный и незабываемый 1910 год, близким свидетелем, а порой и непосредственным участником ряда событий которого ему довелось быть – здесь в первую очередь имеется в виду семейная драма Толстых и уход Льва Николаевича, которые не прошли бесследно для самого Булгакова, «оставив», по его собственным словам, «на всю

жизнь тяжелый памятный знак в сердце». Ему хотелось выразить эти свои переживания и запечатлеть достопамятные события в художественной форме. Вот что он пишет незадолго до смерти, 28 марта 1966 года, в остающемся также неопубликованным предисловии к сочиненной им пьесе о последних днях жизни Толстого (в свою очередь не увидевшей в Советском Союзе ни света ramпы, ни публикации):

«Много раз пытался я рассказать о пережитом в книгах «Л. Н. Толстой в последний год его жизни», «Трагедия Л. Н. Толстого», «О Толстом» и других. И всегда это казалось мне недостаточным. Хотелось не только рассказывать, но и показать, как развивались драматические события в семье писателя, какими были сам Толстой и все другие участники этих событий, а для этого надо было перейти к художественной форме повествования. В результате появилась драма «В кругу противоречий».

Конечно, я отнюдь не претендовал на то, чтобы дать образ Толстого во всей его полноте, глубине и исключительности. Я лишь попытался показать Льва Николаевича в последний год его жизни, наполненный для него мучительными переживаниями, напряженными событиями, когда противоречия, терзавшие великого человека на протяжении многих лет, сплелись в один, неразрывный узел и привели к трагической развязке» (РГАЛИ. Ф. 2226).

Это одно из немногих художественных произведений Булгакова и поэтому имеет смысл задержаться на нем немного

дольше. Пьеса состоит из четырех актов и десяти сцен. Большая часть действия (три с половиной акта) происходит в Ясной Поляне с участием нескольких членов семей Толстых и Чертковых, тогда как две последние сцены акта IV представляют Астапово, и в них вводится ряд дополнительных персонажей – в частности, представители прессы и правительственные чиновники. Действие разворачивается на протяжении последних месяцев жизни Л. Н. Толстого; конфликт строится вокруг секретного документа (завещания Толстого), написанного под влиянием В. Г. Черткова и лишаящего Софью Андреевну и детей прав собственности на произведения писателя после его смерти. В пьесе противостоят друг другу, с одной стороны, Софья Андреевна и ее сыновья Николай и Алексей (имена сыновей вымышлены), а с другой стороны – Чертков и младшая дочь Толстых Александра Львовна.

Смысл драмы заключается в попытках Толстого достичь любовного разрешения конфликта, привести антагонистов к согласию и примирению. Не менее важным оказывается и осознание Толстым своих собственных внутренних противоречий. Ведь проповедуя пути «опрощения» и нравственного совершенствования, он продолжает жить по канонам представителя высшего класса. Уже в действии I, явлении 2 («На кресте величия» – «Смерть Льва Толстого», с. 20) булгаковский Толстой говорит:

«И вы видите, каково мое положение в Ясной? Простые

люди, вот как эти рабочие, невольно чувствуют его фальшь. «Противный старикашка, говорит одно, а делает другое!» – наверное, думают они. И просто не доверяют, когда ты высказываешь им самые сокровенные свои убеждения. Это очень мучительно сознавать!»

Ни тот ни другой конфликт в пьесе не нуждаются, однако, в развязке, ибо «развязкой» оказывается смерть Толстого.

Если пьесу трудно назвать удачной в собственно литературном или сценическом плане, она остается важнейшим биографическим и историческим документом. Булгаков приложил много усилий к тому, чтобы опубликовать ее или представить на театральной сцене в СССР. Он гордился тем, что пьеса пользовалась успехом, по крайней мере при публичных прочтениях:

«2 мая 1935 года состоялось в Праге, в зале «Унитария», первое публичное чтение драмы «На кресте величия», устроенное Союзом русских писателей и журналистов, Русским свободным университетом и Чешско-русским объединением. Исполнителями явились артисты и артистки – члены Русской драматической группы».

Текст пьесы был напечатан в 1937 году издательством А. И. Серебренникова и К^о в Китае. А постановка пьесы уже под другим названием – «Астапово (Смерть Льва Толстого)»⁹ была осуществлена до Второй мировой войны в неза-

⁹ В ответе (17 мая 1961 г.) на рецензию Ю. В. Малашева о пьесе, Булгаков говорит об изменении названия: «Что касается *названия* пьесы, то первоначально

висимой Эстонии – Таллинским драматическим театром¹⁰.

Пьеса Булгакова отчасти компенсирует один отмечавшийся рядом комментаторов крупный концептуальный недостаток его книги «Л. Н. Толстой в последний год его жизни», который остается заметным вопреки всей объективности и искренности этой работы, а именно – сознательное решение Булгакова воздержаться от обсуждения причин ухода Тол-

оно звучало иначе и передавало, м. б., и основную идею моего несовершенного творения. Пьеса называлась «На кресте величия», а основная идея сводилась к показу *трагической судьбы великого человека, окруженного людьми маленькими*. Отсюда критический подход к характеристике почти каждого из окружавших Толстого лиц, не исключая его дочери Александры Львовны и В. Г. Черткова, считавших себя «самими близкими» великому человеку людьми, а свое поведение безукоризненным. Потом мне стало казаться, что название – неудачно, что от него пахнет «литературщиной», и я решил отказаться от него и заменить *простым*, тем, какое вы знаете. Тут слово «Астапово» получает (подобно слову «Голгофа») значение *символа*, – символа трагического конца большого человека, замученного «маленькими». Но если бы вы могли предложить мне другое, подходящее и более красноречивое название, я был бы рад» (РГАЛИ. Ф. 2226). Однако в дальнейшем, после многочисленных «предложений» советских театральных цензоров усилить звучание идеологических и социальных факторов вместо углубления в то, что им виделось как «семейная драма», Булгаков еще раз изменил заглавие пьесы на «В кругу противоречий» (Ленин ссылался на Толстого как на «человека кричащих противоречий») и создал несколько сот страниц черновиков в попытках «угодить всем». Тем не менее пьеса так и не была поставлена и осталась тогда неопубликованной. Булгаков был, несомненно, весьма огорчен этим и написал на первой странице рукописи «На кресте величия» 1959 года: «Цельный экземпляр. Оставить в этом виде». Эта запись ныне находится во владении Группы славянских исследований при Университете Оттавы.

¹⁰ См. «Письмо автора к артисту Н. Устюжанинову, исполнившему роль Л. Толстого, о том, как нужно играть эту роль». 1 декабря 1937 года.

стого из Ясной Поляны¹¹.

Пьеса показывает, к какой трагедии может привести несоответствие жизненной философии – в особенности если эта жизненная философия соединяется со стремлением расширить ее статус до положения широко распространенного уче-

¹¹ Это, как отмечено выше, частично можно объяснить тем, что многие из непосредственных участников яснополянской драмы были в то время еще живы. Тем не менее в своей работе «Замолчанное о Толстом» Булгаков пишет о том, что считает рядом «слабостей» Толстого. Позже он также приводит этот список в статье «Лицо и лик Л. Н. Толстого». Вот несколько примеров, которые даются здесь без комментариев: «[Толстой] подслушивал иногда разговоры гостей и домашних»; «иногда противоречив в своей непосредственности»; «[Н. Н. Гусев возмущается моим указанием,] что в Толстом сохранилось много от прирожденного аристократизма»; «иногда Лев Николаевич бывал как бы равнодушен или резок по отношению к своим детям»; «Толстой иногда, чрезвычайно редко и в незначительной доле нарушал правила воздержания – от вина, от всего вегетарианского... от курения и мяса»; «Толстой бывал излишне строгим»; «[Толстой] проявлял довольно часто. черты женофобства, скептически отзываясь об умственных и моральных качествах женщин». В книге «Как прожита жизнь» Булгаков спорит с Н. Н. Гусевым о критической оценке последней статьи «Замолчанное о Толстом», в которой он (Булгаков) лишь хотел показать, что Толстой – «гениальный писатель, общественный деятель и мыслитель-проповедник» – был в то же время живым человеком. При этом он пишет (см. с. 164 наст. изд.): «...странно, что статья эта дала повод моему предшественнику в качестве секретаря Толстого Н. Н. Гусеву выпустить против меня обличительную брошюру, написанную с целью защиты Толстого (Москва, 1926, издание автора). В этой брошюре Николай Николаевич, исследователь старательный и плодovitый, но, к сожалению, слишком связанный своим «толстовством» и потому не всегда объективный, из всех сил стремится доказать, что тех поступков, о которых упоминается в моей статье, Лев Николаевич не совершал. Н. Н. Гусев, очевидно, думал, что такого рода «защитой» он очень повысит авторитет Льва Николаевича. Ему хотелось видеть Л. Н. Толстого безрешиным».

ния – и привычного, многолетнего образа жизни человека. Сложная личность Софьи Андреевны Толстой, отчасти уже освещенная в более ранних работах Булгакова, в пьесе с гораздо большей ясностью представлена как «последняя капля». Почему же пьеса не «прошла» в СССР? Что в ней противоречило в какой-либо степени официальной трактовке образа великого писателя и искателя истины? Возможно, Толстой у Булгакова оказывался для советской идеологизированной цензуры излишне религиозным человеком и одновременно не был в достаточной степени показан как «зеркало русской революции».

IV

Несмотря на появившиеся и отмеченные выше работы о В. Ф. Булгакове, большинство исследователей еще мало знакомы с его биографией. Включение в настоящее издание хронологии «Основные даты жизни и творчества В. Ф. Булгакова» является попыткой хотя бы отчасти восполнить этот пробел. Тем не менее представляется важным еще раз попытаться кратко суммировать эти данные, причем видится целесообразным, чтобы частично это было сделано самим Булгаковым, благо такая возможность имеется. Ниже приводится «Отчет о научной работе хранителя Дома Л. Н. Толстого мл. научного работника В. Ф. Булгакова», написанный им 2 июля 1952 года (печатается впервые):

«ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ

хранителя Дома Л. Н. Толстого мл. научного работника
В. Ф. БУЛГАКОВА

В молодые годы я интересовался этнографией и фольклором и работал в этой области под руководством известного путешественника по Монголии и Тибету и фольклориста Г. Н. Потанина. Под редакцией Потанина изданы в 1906 году Красноярским подотделом Восточно-Сибирского отдела Имп. рус. геогр. о-ва записанные мною в Кузнецком, Барнаульском и Бийском уездах Томской губ. народные сказки. Среди этих сказок оказались редкие и ценные образцы. Научные примечания к сказкам составлены были Г. Н. Потаниным и мною.

Впоследствии интерес к литературе, истории и философии возобладал.

Первым выражением этого интереса явилась статья «Ф. М. Достоевский в Кузнецке», напечатанная (еще за год до опубликования сказок, в 1905 г.) в иллюстр. прил. к газ. «Сибирская жизнь» (Томск). Я первым собрал все сохранившиеся сведения о пребывании Достоевского в 1857 году в г. Кузнецке и о женитьбе его первым браком на М. Д. Исаевой. Нашел в церковном архиве запись о браке и расспросил двух живших еще в 1905 году свидетелей венчания и жизни писателя в городе. Отмечу, что тотчас по опубликовании статьи

(со снимками дома, где жил Достоевский, и церкви, где он венчался) вторая супруга и вдова писателя А. Г. Достоевская выписала у издателя 10 экз. номера газеты с моей статьей.

В дальнейшем главный интерес мой сосредоточился на Л. Н. Толстом, причем как музееведу мне довелось выполнить и ряд ответственных работ научно-охранного порядка.

В 1908–1909 годах я поставил себе задачей составить систематическое изложение философского мировоззрения Л. Н. Толстого. Сам Толстой такого изложения не дал. Его взгляды по отдельным вопросам изложены более чем в 168 книгах, статьях и письмах. (По крайней мере, именно такое количество источников указано в примечаниях к моему труду, о котором я хочу сейчас сказать.) Изучивши материал и установивши, что именно в мировоззрении Толстого является главным, основным и что второстепенным, вытекающим из главной основы, я написал книгу «Христианская этика (Систематические очерки мировоззрения Л. Н. Толстого)» по особому, систематически проработанному плану. С этой работой я ознакомил Толстого, который ее одобрил и между прочим нашел, что она будет особенно полезна для интеллигентного читателя. Впоследствии он написал к этой работе небольшое предисловие, в котором заявил, что сочинение это им внимательно прочитано и что он нашел в нем верное и очень хорошо переданное изложение его религиозного мирозерцания.

Книга эта вышла двумя изданиями по-русски (1917 и

1919), а также переведена на болгар. и француз. языки. До сих пор она остается единственным систематическим изложением философского мирозерцания Л. Н. Толстого.

В «Христианской этике» я давал, если можно так выразиться, последние выводы, окончательный результат, поперечный разрез философской работы Толстого. В другой работе, названной мною «Духовный путь Л. Н. Толстого» и выпущенной издательством под произвольно данным заглавием «Толстой-моралист» (Прага, 1923), я даю очерк постепенной эволюции мирозерцания Толстого, – так сказать, продольный, а не поперечный разрез. Хотя работа эта и устарела, но все же, насколько я знаю, она остается единственной попыткой характеристики эволюции воззрений Толстого. Книга переведена на чешский, болгарский и немецкий языки.

В 1912–1916 годах мною была произведена, по предложению Толстовского о-ва (О-ва Толстовского музея), работа научно-библиографического описания огромной личной библиотеки Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Не только записывалась подробно каждая книга, но выписывались надписи авторов на книгах-подношениях и личные пометки Толстого в книгах, а также собраны были (по литературным источникам и по личным сообщениям оставшихся в живых членов семьи Толстого) отзывы великого писателя о прочитанном. Начало Первой мировой войны, а затем революционные события и мой отъезд из Москвы помешали изданию этой ра-

боты, которая в рукописи хранится в Гос. музее Л. Н. Толстого в Москве, где служит для справок всем исследователям жизни и творчества Толстого. О значении этой работы написана была большая статья б. председателем Русского библиографического общества при Московском университете, ныне профессором Москов. библиотеч. института имени В. М. Молотова, заслуж. деятелем науки Б. С. Боднарским («Рус. ведомости», № 256, 5 ноября 1916 г.).

Отдельным сторонам личности, биографии и творчества Толстого посвящены мои статьи: «День Льва Николаевича», «Л. Толстой как человек», «Лицо и лик Л. Н. Толстого (Ответ Н. Н. Гусеву)», «Замолчанное о Толстом», «Неизвестный перевод Л. Н. Толстого статьи J. A Ruth'a Pure religion and pure gold», «Новые рукописи Л. Н. Толстого» (Архив д-ра Д. П. Маковицкого в Чешском национ. музее), «Уход и смерть Л. Н. Толстого», «Трагедия Льва Толстого» и др.

В 1914 году друзья и единомышленники Л. Н. Толстого в количестве 42 лиц выступили с воззванием против империалистической войны. 25 человек из них были арестованы, и дело поступило на рассмотрение в Московский военно-окружной суд. Оно разбиралось весной 1916 году, в уже определенно наметившейся предреволюционной атмосфере, при общем сочувствии широких кругов публики и печати. Суд не решился пойти против общего настроения и приговорил участников воззвания к минимальным наказаниям (1 % лет крепости), покрытым предварительным заключени-

ем. Дело это, по высокой и бескорыстной настроенности подсудимых, по участию в нем целого ряда исторических личностей (детей Толстого, ряда выдающихся парламентариев, знаменитых адвокатов), а также по богатству и своеобразию бытовых подробностей, показалось мне достойным исторического исследования. Я произвел это исследование, собравши все необходимые материалы и описав процесс возникновения и распространения нескольких воззваний, следствие, тюрьмы и самое судебное разбирательство, продолжавшееся 9 дней. В 1922 году вышел первый том моей работы, два другие тома остались в рукописи, приобретены были позже Историческим архивом чехословацкого Мин-ва иностранных дел, а когда архив был преподнесен чехословацким правительством в дар Академии наук СССР, перешли с другими материалами в архив академии.

В 1932 году я разработал небольшое сочинение по истории секты духоборцев, находившейся в связи со Л. Н. Толстым. В сочинении этом дан был исторический очерк духоборческой общины и описание современного ее состояния в Канаде. (Как известно, духоборцы выехали из России в количестве 7000 человек в 1899 г.) Ценность книги, вышедшей со многими иллюстрациями лишь на болгарском языке, в том, что в ней использованы данные, полученные мною при личном общении с некоторыми выдающимися представителями духоборческой общины.

В 1920–1923 годах мною были выполнены важные зада-

чи научно-охранного порядка, касавшиеся Гос. музея Л. Н. Толстого и Дома Л. Толстого в Москве. (Я был тогда заведующим музеем и хранителем дома.)

В 1920 году я перевел музей, со всеми его коллекциями, из его первоначального и недостаточного помещения в одной из квартир жилого дома № 18 по Поварской ул. (ул. Воровского) в стильный особняк № 11 по ул. Кропоткина, занимаемый музеем поныне. Особняк, совершенно испорченный и загаженный временными случайными жильцами, был заново отремонтирован и покрашен как внутри, так и снаружи. Горы мусора (не менее 5 грузовых машин) были вывезены из подвала и разных комнат. Коллекции музея, все время пополнявшиеся, были с удобством размещены в обновленном здании, и 20 ноября 1920 года, в день 10-летия со дня смерти Толстого, музей был торжественно открыт в новом помещении.

Выяснив, что в доме № 21 по ул. Кропоткина (занимавшемся тогда Вторым музеем новой западной живописи) имеется огромная, пустующая несгораемая кладовая (бывшего миллионера Морозова) с разбитыми дверями, я испросил у Наркомпроса особый кредит на ремонт металлических дверей с 6-ю внутренними замками, а также разрешение обратиться кладовую в помещение для архива рукописей Толстого. Разрешение было дано, кредиты отпущены, и скоро рукописи Толстого были переведены в помещение несгораемой кладовой, где они, чрезвычайно разросшись по количеству,

хранятся и в настоящее время.

В 1921 году мною восстановлен был и открыт в качестве музея дом Л. Н. Толстого в Хамовниках. Между тем, дому этому грозила опасность вследствие недостатка топлива в городе быть разобранным на дрова. Сорваны были уже ставни, уничтожены колонки беседки в саду, а, главное, разобран был весь деревянный забор по внутренней меже владения, на протяжении 200 метров, что делало дом беззащитным. В самом деле, двор был обращен в проходной. В парке устроилась футбольная площадка. Только создание каменной или бетонной ограды могло спасти исторический дом. Такую ограду удалось воздвигнуть с помощью управделами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевича, занимавшего в 1921 году пост заведующего всем строительным делом в Москве и отпустившего Дому Толстого достаточное количество бетона для возведения вокруг него бетонной ограды. Затем разыскана и возвращена была в дом мебель, частью помещенная вдовой Толстого на хранение в склады Ступина на Софийской набережной, частью переданная ею сыну М. Л. Толстому, а частью хранившаяся в Ясной Поляне. Указания о местонахождении мебели получены были мною от С. А. Толстой еще при ее жизни (вдова Толстого скончалась в 1919 г.). Также по ее указаниям мною заблаговременно составлены были планы расположения мебели по отдельным комнатам, — в 1921 году эти планы были использованы, и в результате всей этой исключительно сложной работы дом Л. Н. Толсто-

го открыт был с 20 ноября 1921 года как музей, для обозрения публики.

Что касается последних трех лет (июль 1949 – июль 1952 г.), то научная работа моя развивалась главным образом в двух направлениях.

Во-первых, под моим руководством группой научных сотрудников Музея-усадьбы Ясная Поляна продолжалось по новому, более широкому и углубленному плану описание библиотеки Толстого. В отличие от старого описания, все отмеченные Л. Н. Толстым в книге места не только указывались с обозначением начальных и последних слов, но и подробно выписывались. Выяснилось также, что в самом методе записи книг в старом описании имелись некоторые дефекты: напр., не отмечалась степень сохранности книг и т. д. Произошло это потому, что в 1912–1916 годах я руководился в своей работе указаниями проф. А. Е. Грузинского, не бывшего специалистом-библиографом. Новый план описания, составленный мною, одобрен и дополнен крупным специалистом проф. Б. С. Боднарским. До сих пор написано более 50 печат. листов. На мне лежит также составление комментариев к описанию (сведений о времени чтения Толстым той или иной книги и т. д.).

Во-вторых, осуществлен, в порядке научно-охранной работы, ряд реставрационных работ и усовершенствований в деле охраны экспонатов в доме-музее: установлено 35 стеклянных футляров на столах и полках с мелкими предмета-

ми и книгами, проведены реставрация живописи, реставрация части скульптуры, восстановление некоторых утраченных предметов обстановки, капитальный ремонт балкона и пр. В данное время производится наружная побелка дома. На очереди стоит ряд других работ того же рода, которые надеюсь окончить к наступлению знаменательной даты 125-летия со дня рождения Л. Н. Толстого (10.09.53)». (РГАЛИ. Ф. 2226)

В 1950-х годах и даже в 1960-х, уже после выхода на пенсию, Булгаков продолжает активно участвовать в работе Музея-усадьбы Ясная Поляна. Одного взгляда на включенные в хронологию сведения о первых годах после его выхода на пенсию достаточно, чтобы увидеть, какое количество лекций о Толстом, бесед и экскурсий он провел, сколько публикаций просветительского характера осуществил. А ведь он в эти годы продолжал работать и над новыми трудами, часть которых вышла в свет тогда же, а часть была опубликована уже после его смерти. Как отмечалось выше, после выхода на пенсию в январе 1959 года. Булгаков остался жить в Ясной Поляне. В последние годы жизни продолжалась работа над рукописями воспоминаний «Как прожита жизнь» и книги «В споре с Толстым. На весах жизни».

В. Ф. Булгаков умер в Ясной Поляне, на три года пережив свою супругу Анну Владимировну (рожд. Цубербиллер, 1896–1963). Они познакомились летом 1919 года в одной из колоний Всероссийского комитета общественной помощи

голодающим детям – в деревне Островке Моршанского уезда Тамбовской губернии. А. В. Цубербиллер была сотрудницей колонии. Булгаков дает краткую, но лестную характеристику этой девушке, ставшей его супругой в 1920 году, в главе 2 части «В эпоху Октябрьской революции» книги «Как прожита жизнь». Похоронен Булгаков в Кочаках.

V

Посвятив значительную часть своей жизни – как на Родине, так и за рубежом (в первую очередь, конечно, в Чехословакии) – распространению знаний о Толстом и русской культуре, Булгаков, по свидетельству современников, как знакомых, так и в особенности работавших с ним коллег, был доброжелательным, скромным человеком, которому присущи были чувство справедливости и способность к состраданию. Представляется уместным привести несколько высказываний о нем.

Говоря о том, как Булгаков представляет Софью Андреевну Толстую, О. Г. Егоров («Дневники русских писателей XIX века: исследование»), в полном согласии со вступительными статьями Розановой к двум книгам «В. Ф. Булгаков. У Л. Н. Толстого в последний год его жизни» и «Дневники С. А. Толстой», отмечает:

«Образ жены Толстого в дневнике Булгакова далек от той односторонности, которая свойственна некоторым другим

летописцам жизни писателя в последние годы его жизни. Известно, что в самой семье Толстого конфликт развел родных по разные стороны в отношении матери и отца. Хроникеры невольно поддавались веяниям той нравственной атмосферы, которая царила в яснополянском доме. В этом смысле позиция Булгакова заметно отличается как от роли родственников Толстых, так и от воззрений мемуаристов.

Сознание молодого Булгакова еще не было отягощено идейными предрассудками и нравственными изломами. Им движет естественное чувство добропорядочного и искреннего человека, который инстинктивно сочувствует страданию и не приемлет бессердечия и равнодушия. Поэтому образ Софьи Андреевны в его дневнике дан наиболее объективно, целостно, во взаимодействии противоречий, свойственных ей в последнее десятилетие жизни Толстого.

Булгаков не акцентирует внимание, как Маковицкий, на болезненных сторонах ее психики, хотя попутно и говорит о психологических срывах. Он видит в ней прежде всего глубоко страдающего и любящего человека, вынесшего на своих плечах огромное бремя забот, тревог, испытаний: «Лицо Софьи Андреевны было бледно, брови насуплены, глаза полузакрыты, точно веки опухли... Нельзя было без боли в сердце видеть лицо этой несчастной женщины. Бог знает, что было в это время у нее на душе, но она не потерялась [...]» (с. 381/227).

Важно, однако, еще раз отметить, что Булгаков мог быть и

нелицеприятно, беспристрастно справедлив. Так, он пишет в своем дневнике («В осиротелой Ясной Поляне») 22 января 1913 года:

«Вообще, как это ни печально, но надо сознаться, что Софья Андреевна говорлива и говорлива без конца. Она совсем не умеет молчать и хоть что-нибудь, хоть невпопад, да скажет.

Вот недавно, например, стала хвастаться своей образованностью:

– Я читала всего Эпиктета, всего Шопенгауэра, всего Платона, всего Марка Аврелия, *всего Сократа!*..

Да ведь «всего Сократа» нельзя было прочесть, Софья Андреевна, потому что нет *ни строчки* Сократа, а есть Платон, Ксенофонт. Ах, лучше бы молчать!» (с. 160).

Некоторые замечания Булгакова о жене Толстого в «Письмах С. А. Толстой к Вал. Ф. Булгакову» (в кн. «О Толстом». Тула, 1964) характеризуют его самого как порядочного, сострадательного человека и верного друга (с. 281):

«В течение всего времени десятилетнего знакомства с С. А. Толстой, с 1909 по 1919 год, я пользовался ее добрым расположением и, в свою очередь, платил ей искренней привязанностью. Мне внушали уважение ее прямого и правдивость, ее любовь к Толстому; любовь к искусству вообще и к музыке и литературе в частности, любовь к детям, любовь к природе. Положению Софьи Андреевны в 1910 году я особенно сочувствовал, видя не всегда справедливое и ча-

сто некорректное отношение к ней со стороны представителей сплоченного «чертковского» кружка близких Л. Н. Толстого. Последние «не ведали, что творили»¹², раздражая подругу жизни великого Толстого и тем безмерно осложняя его собственное положение¹³.

С. А. Толстая бывала иногда тяжела в общении, но это не могло быть мотивом неуважительного отношения к ней. Ведь сорок восемь лет, как она пишет в первом письме ко мне, она прожила со своим мужем и была «самым близким человеком» для него».

В свою очередь, ряд писем Софьи Андреевны, адресованных Булгакову, свидетельствует о глубоком уважении и симпатии, которые она питала к нему. Вот, например, фрагмент ее письма Булгакову от 11 июня 1911 года (с. 284), в котором она убеждает его занять пост в Музее Л. Н. Толстого для работы над рукописями ее мужа:

«О вас, к которому я всегда относилась с симпатией, я много думала. Если вы будете жить в деревне и работать на земле, – вас это не удовлетворит. Вы человек одаренный, вы пишете хорошо и думаете хорошо. Вам надо, хотя со временем, приютиться к какому-нибудь умственному центру. Хорошо бы когда-нибудь, любя Льва Николаевича и его память,

¹² См. Лк 23, 34.

¹³ В главе 4 части «В эпоху Октябрьской революции» книги «Как прожита жизнь» Булгаков сочувственно рисует перед читателем портрет С. А. Толстой в последний период ее жизни.

пристроиться при правительственном Музее для разработки рукописей и всяких работ покойного. Это, впрочем, *моя* мечта, а у всякого своя жизнь; и я от души желаю вам всякого успеха и радости. Пишите мне иногда, особенно при перемене адреса. Мой всегда будет *Засека*. Жму вашу руку, как всегда, с дружелюбием и доверием к вашему сердцу».

Наконец, вот еще два характерных свидетельства коллег Булгакова: И. Грызловой, познакомившейся с ним в 1953 году и сотрудничавшей с ним в течение десяти лет, и Т. К. Поповкиной, работавшей с Булгаковым на протяжении пяти лет. В статье «Он любил и помнил Толстого. Воспоминания о В. Ф. Булгакове» Грызлова пишет:

«В часы отдыха Валентин Федорович охотно разговаривал с нами, молодыми сотрудниками, заразительно подолгу смеялся, играл зимой в снежки, любил петь романсы. У него был приятный голос; ...он глубоко чувствовал и понимал классическую музыку» (с. 130).

«В жизни Валентин Федорович был очень непритязательным, скромным человеком. Он во всем старался обходиться без посторонней помощи; был чрезвычайно трудолюбив, аккуратен, не всегда даже использовал обеденный перерыв, чтобы как следует перекусить. о нем мало сказать, что это был человек доброжелательный. Он был добр и щедр ко всякому, кто к нему обращался за материальной поддержкой. Мои коллеги часто. говорили: «Возьмем денег у Булгаши», или «Булгаша обязательно даст» (с. 132).

Т. К. Поповкина описывает Булгакова следующим образом:

«В 1950-е годы ему было под семьдесят лет¹⁴. Это был крупный красивый старик с седыми волосами и румяным лицом... Лучшего руководителя по описанию библиотеки Л. Н. Толстого, чем Валентин Федорович Булгаков, трудно было и найти. Широко образованный человек, очень хорошо знавший русскую и европейскую литературу, живопись и музыку...»

«Он был щедрым человеком, охотно, я бы сказала – с удовольствием делился своими знаниями, поэтому во время работы не раз возникали импровизированные лекции, беседы, рассказы».

«В. Ф. Булгаков был скромным и неприхотливым человеком в быту. На протяжении многих лет он носил один темно-серый костюм, который содержал в чистоте и опрятности. Как и все сотрудники, он жил на скромную музейную зарплату» (с. 212–215).

В сентябре 1966 года две дочери Валентина Булгакова, Т. В. Романюк и О. В. Пономарева, передали архив отца в РГАЛИ, куда поступили материалы и из Пражского архива. Уникальный архив Валентина Булгакова (около 1600 единиц хранения) и сегодня остается малоисследованным. Сохранилось более 300 его рукописей, многие связаны с Толстым; его дневники (1904–1966), 14 записных книжек (1933–1966);

¹⁴ Напомним, что Булгаков родился в 1886 г.

обширная переписка, в частности – с рядом членов семьи Толстого и его окружения или посвященная Толстому.

VI

Мемуары «Как прожита жизнь» Булгаков писал в 1946–1961 годах. Они состоят из 24 частей:

I – Детство в Кузнецке.

II – Томск.

III – Москва.

IV – Ясная Поляна.

V – Томск – Москва – Кавказ: искания правильной жизни.

VI – У могилы учителя.

VII – Выступление против 1-й мировой войны.

VIII – На фронте.

IX – Февральская революция.

X – В эпоху Октябрьской революции.

XI – Последние годы жизни в Москве.

XII – Первые годы жизни за границей.

XIII – Работа в Союзе русских писателей в Чехословакии и первые две лекционные поездки по Австрии.

XIV – Обераммергау и лекционные поездки в Судетскую область.

XV – Лекционные поездки по Германии и Швейцарии в 1927 году.

XVI – Поездки и выступления в связи со 100-летием Л.

Н. Толстого. 1928 год.

XVII – Словакия, Швейцария и две поездки в Германию.

XVIII – Поездки в Словакию и Австрию. Шестая лекционная поездка по Германии.

XIX – Седьмая лекционная поездка по Германии и конференция Интернационала противников войны в Лионе (Франция). 1931 год.

XX – Совет Интернационала противников войны в Энфилде (Англия), 8-й Международный вегетарианский конгресс в Эдене (Германия) и лекционные поездки по Германии и Чехословакии. 1932 год.

XXI – Последние поездки по Германии, Швейцарии и Англии. Американская премия.

XXII – Русский культурно-исторический музей. Драматургия.

XXIII – Вторая мировая война: тюрьмы и лагеря.

XXIV – Последние годы в Золотой Праге. Возвращение на родину.

Всего: около 6000 листов!

Полная публикация этого объемного труда потребовала бы нескольких томов. Поэтому нами были отобраны для публикации пять частей, имеющих самое прямое отношение к жизни и памяти Л. Н. Толстого и охватывающих период с 1906 (времени приезда В. Ф. Булгакова в Москву из Сибири и поступления в Московский университет) по 1923 год, то

есть вплоть до высылки Булгакова за границу.

Само собой разумеется, жизнь и творчество В. Ф. Булгакова нельзя изучать без надлежащей ссылки на его дневники, которые можно рассматривать в определенной степени как вид публицистики или даже журналистики. Так, например, в их яснополянской части представлены Толстой и его семья, ближайший и достаточно широкий круг последователей Толстого, многочисленные друзья и почитатели великого писателя – причем все события четко привязаны к определенным датам, и автор чаще всего оказывается живым свидетелем и нередко непосредственным участником их, а равно и летописцем буквально «по горячим следам». В то же время мемуары и другие ретроспективные работы Булгакова имеют собственные преимущества – проникновение в суть событий, представление связи причин и следствий, возможность объединения взаимосвязанных явлений и событий в единых по смыслу частях и главах, рассмотрение их в рамках более широкого исторического и философского контекста. «Как прожита жизнь» позволяет Булгакову сопоставлять события, происходившие в различное время, а также давать собственные комментарии как об отдельных явлениях, так и о том, чему автор был свидетелем в жизни в целом. Важно также, что, как любая мемуарная литература, эти воспоминания естественным образом отражают эволюцию мировоззрения автора, так как его взгляды на те же события с течением времени могут несколько измениться под влиянием

новых условий или просто накопленного опыта и прожитых лет.

VII

Предлагаемая ныне публикация «Как прожита жизнь» и запланированное на 2013 год издание «В споре с Толстым. На весах жизни» выходят в свет в непростой период истории, когда накапливающееся в мире политическое, идеологическое и социальное напряжение не может не сопровождаться повышением и обновлением общественного интереса к Л. Н. Толстому как писателю, философу, учителю нравственности – интереса ко всем деталям, проливающим свет на его непростую жизнь, замечательное творчество, подлинно гуманистическую философию, высокие нравственные идеалы и эстетические воззрения. Вопросы справедливости и совести, войны и мира, социального противостояния и согласия, приверженности радикализму и неприятия насилия, взаимосвязи духовной и материальной сторон жизни, волновавшие Толстого и требовавшие от него неустанного интеллектуального и нравственного поиска приемлемых ответов, остаются столь же актуальными для нас и спустя столетие после смерти яснополянского искателя. Это касается, конечно, отнюдь не только его религиозных и политических трактатов, но и художественных произведений. Сравнительно новым направлением исследования является изучение более или ме-

нее постоянного критического воздействия Софьи Андреевны Толстой на творчество ее мужа. Все это полностью сохраняет свой просветительский потенциал и для сегодняшнего общества, как, впрочем, не утратит его и для грядущих поколений.

Ценность воспоминаний Булгакова, его дневников и переписки для исследователя и любого пытливого читателя, знакомящегося с ними в XXI столетии, неоценима.

Во-первых, эти документы позволяют заполнить некоторые из до сих пор существующих лакун в наших фактологических знаниях. Например в том, что касается хронологии и конкретных дат работы Толстого в последний год его жизни – когда именно он приступал к тому или иному тексту, подвергал его переработке, заканчивал первоначальные и последующие черновые варианты и т. д.

Во-вторых, Булгаков, хотя зачастую и не скрывает собственного отношения к тем или иным лицам и событиям, не мешает читателю объективно и одновременно во многом по-новому увидеть их. Его работы позволяют более глубоко проникнуть как в суть событий, так и в характер их участников. Это тем более ценно, что исходит не просто от внимательного и объективного наблюдателя, а от непосредственного участника событий (и свидетеля сопровождающих их, а равно порою и вызывающих их страстей).

В-третьих, подробное и мастерское описание Булгаковым жизни одного из самых любопытных фрагментов россий-

ского общества начала XX века, включающего аристократов и крестьян, интеллектуалов и пролетариев, искателей нравственной истины и охранителей государственных устоев, позволяет бросить свежий и живой взгляд на эти взаимоотношения как в плане их уникальности, так и некой типичности, равно как и увидеть их в более широком контексте эволюции общества того времени. И все это отмечено замечательным умом, тонкой наблюдательностью и серьезным анализом.

Наконец, многочисленные личные, творческие, профессиональные, интеллектуальные и идейные, а порой и просто случайные связи Булгакова с различными представителями культуры первой половины XX столетия в самых разных частях света обуславливают интерес к его личности и трудам, выводя его далеко за рамки по-своему неисчерпаемого, но все же достаточно узкого предмета толстоведения. Это еще один очень значительный критерий жизни и деятельности Булгакова, в силу которого знакомство с Толстым представляется лишь одной из сторон этой многогранной личности – пусть и важнейшей стороной. Следует признать, что в настоящем издании данное направление остается лишь слегка намеченным.

Возвращаясь к Толстому, следует еще раз подчеркнуть, что труды Булгакова представляют собой громадную ценность для исследователей и всех заинтересованных читателей в силу того, что в совокупности прекрасно отражают ду-

ховный путь автора, путь его творческого и философского развития и возмужания – от безоглядного увлечения ученика притягательной личностью и захватывающими идеями Толстого к серьезному и даже строгому мемуаристу и ученому, способному подвергнуть взгляды Толстого всестороннему и беспристрастному анализу, несколько, впрочем, не утратив при этом своего уважения к великому человеку и не повредив своей теплой памяти о нем.

Работы Булгакова написаны прекрасным и в то же время очень простым, «легким» языком, что в полной мере относится и к публикуемым ныне частям «Как прожита жизнь». Булгаков предстает как талантливый писатель, и это оказывается большой удачей, учитывая, что его перу приходится иметь дело с описанием сложной личности самого Толстого, с насыщенными событиями и характерами, кипучей средой его родных и близких, последователей и идейных противников, почитателей и критиков. В Ясной Поляне и вокруг нее разворачивалась в последний год жизни Толстого – да, впрочем, и еще долгое время после – подлинная драма. Если наличие возле Толстого в последние месяцы его жизни умелого секретаря можно считать закономерным (в выборе, вероятно, недостатка не было), то наличие у оказавшегося в этом положении конкретного человека – Булгакова – способности схватывать суть событий и явлений, а впоследствии более чем удовлетворительно воспроизвести пережитое на бумаге следует считать именно большой удачей, одним из подарков

Истории живущим впоследствии поколениям.

Под умелым и легким пером Булгакова читателя захватывает анализ некоторых из работ Толстого, оживает поток бесконечных посетителей Ясной Поляны, среди которых мелькают и неизвестные крестьяне и мещане, и блистательные представители культурной элиты своего времени. Здесь можно ощутить биение пульса жизни семьи Толстого и его круга как в развитии их собственного внутреннего мира, так и в их взаимоотношениях.

Булгаков проявляет себя как искусный рассказчик. Его описания событий и природы не бывают статичными, банальными, но оказываются динамичны, свидетельствуют об умении внимательно наблюдать и тонко анализировать. Также свежи и убедительны его портретные зарисовки. Вот лишь два примера:

1) Портрет В. О. Ключевского

Говоря о профессоре В. О. Ключевском, лекции которого по истории ему довелось слушать, Булгаков создает портрет одного из лучших, по его мнению, преподавателей Московского университета того времени. Обращает на себя внимание, как он выделяет то, что, на его взгляд, в первую очередь является важнейшими отличительными чертами профессионализма Ключевского.

«На университетской кафедре В. О. Ключевский был редким и, можно сказать, *единственным* в своем роде сочетани-

ем трех высоких качеств, а именно – глубокой, основательной учености, выдающегося писательского таланта и, может быть, еще более выдающегося мастерства художественного чтения, и даже не чтения (в чтении всегда, хоть в ничтожной доле, есть что-то механическое), а *живого произнесения*».

Однако не менее важна и личность Ключевского, и его умение подчинить аудиторию обаянию своего таланта.

«В самом деле, как ни замечателен и как великолепно ни написан курс Ключевского, впечатление, получаемое от него *читателем*, не могло ни в коем случае равняться с действием чтения или произнесения отрывков (отдельных лекций) из этого курса *самим автором* перед студенческой аудиторией. Это было высшее, беспримерное обаяние и очарование, когда блестящий артист-лектор буквально царил в сознании слушателей, сливался с ними в одно многоголовое, но единой мыслью проникнутое и единым чувством живущее существо. Да, Ключевский был артист, артист на кафедре. Он, в сущности, *проигрывал* перед вами роли всех тех исторических лиц, которых он касался, даже если при этом не прибегал к чтению монологов, а только описывал. Талантливо написанный текст своего изложения Ключевский оживлял в десять раз мастерским своим чтением, сообщая ему несказанную экспрессию».

Затем Булгаков, как истинный мастер портрета, связывает воедино внешний облик и внутреннюю сущность своей «модели» и роли места изображаемого им человека среди совре-

менников:

«Этому старичку с наружностью московского подьячего – сутуловатость, козлиная бородка, живые, темные, все видящие глаза под очками, ручки, скромно сложенные на кафедре, к которой он, стоя, притулился правым боком – позавидовали бы, наверное, в мастерстве чтения и Щепкин, и Садовские, и Москвин, если бы его услышали. Ключевский на самом деле был *первоклассный артист*, и этим-то именно покорял свою аудиторию, как покоряли публику в театрах своим личным обаянием и своей неподражаемой передачей чужих написанных текстов великие корифеи сцены. В этом, то есть в таланте художественного чтения, весь секрет великого обаяния и славы Ключевского как лектора»¹⁵.

2) Портрет В. Г. Черткова

Булгаков прибегает здесь к оригинальному приему: он использует два изображения Черткова – фотографию и портрет – для того, чтобы показать читателю то, что представляется ему самому объективной картиной характера Черткова. Известно, что Булгаков, хотя и оставался навсегда благодарен Черткову за предоставленную возможность работать с Толстым, стал постепенно относиться к роли, которую этот человек играл в окружении писателя, достаточно критически. Это относится и к тому, как вел себя Чертков в окружении Толстого, и к некоторым его действиям после смер-

¹⁵ Булгаков В. Ф. Как прожита жизнь. Ч. «Москва». Гл. 3.

ти писателя. Со временем его взгляды обрели зрелость объективности, и он в своих воспоминаниях старается быть по отношению к Черткову максимально беспристрастным. В «Как прожита жизнь» в этом отношении наибольший интерес представляет глава 8 части IV. С чисто литературной же точки зрения, однако, еще большее впечатление производит остающаяся до сих пор целиком неопубликованной обширная статья о В. Г. Черткове (1854–1936), написанная в декабре 1964 года и помеченная рукой Булгакова как «Первая отвергнутая версия». Неполный вариант с некоторыми сокращениями и искажениями был напечатан в журнале «Слово» (1990. № 9-12), откуда взят следующий фрагмент:

«Я расстался с В. Г. Чертковым за 13 лет до его кончины [в 1936 году] и не наблюдал его в эти закатные годы его жизни. Из Москвы доносились до Праги чешской, где я проживал с 1923 года, скудные слухи: о его докладах в Газетном переулке, о работе в редакции Полного собрания сочинений Толстого и т. д. Но как жил и как чувствовал себя Владимир Григорьевич внутренне, что нес и что донес он в своей душе до конца, об этом я мог судить только по двум его стариковским изображениям: во-первых, по фотографии, опубликованной в болгарской «толстовской» газете «Свобода» после его смерти в 1936 году, и по увиденному мною, уже по возвращении на родину, в Третьяковской галерее большому живописному портрету работы М. В. Нестерова.

Оба изображения были исключительно схожи с оригина-

лом и в то же время разительно отличались одно от другого по выражению.

Фотография раскрывает перед зрителем идеальный, положительный образ прекрасного лицом и душой старца, вдохновенного религиозного искателя и общественного деятеля, ближайшего друга Толстого.

Чертков всегда был красив. Я помню прелестную фотографию, изображающую его юным офицером, с красивым, тонким лицом, римским носом и большими, смелыми глазами, одетым в белый конногвардейский мундир и в высокую каску с литым, расправляющим крылья орлом наверху. И я не знал, где он лучше: на этой ли молодой фотографии или на той, старческой, о которой я говорю? К концу жизни у Владимира Григорьевича отросла длинная, седая борода, как у Льва Николаевича, лицо утончилось, глаза утратили тяжелое, властное выражение и смотрели на вас – с портрета, по крайней мере, – открытым взором, освещенным как-то изнутри – и страданием, и торжествующей бесплотной любовью ко всему живому. Неизъяснимой, одухотворенной красотой дышало это лицо седого старика. [...] Так расшифровал я болгарскую фотографию.

Это был портрет старика Черткова. Но, оказавшись в Москве и посетив Третьяковскую галерею, я увидел другой его портрет, работы Нестерова, написанный замечательным художником тоже в преклонные годы В. Г. Черткова, в 1935 году.

Одновременно узнал я историю написания этого портрета. История эта интересна по тому беспримерному давлению на художника, с целью внушить ему определенную трактовку изображаемого лица, которое оказывалось окружением В. Г. Черткова, а отчасти и им самим, и *поучительна* по той твердости и художнической добросовестности, с какими М. В. Нестеров упорно отклонял все попытки повлиять на него и увести его от собственного, самостоятельного понимания модели. [...]

Когда стало обнаруживаться выражение жесткости на портрете, это начало смущать самого Черткова. Он попросил принести свои последние фотографии и показывал их Нестерову, желая убедить его, что на них он похож больше, чем на портрете.

Но Нестеров был непреклонен. [...]

Портрет, конечно, стоит на высоте, в смысле сходства с оригиналом. Он показывает Черткова таким, каким он был на самом деле. Но надо было быть гением, как Нестеров, чтобы безбоязненно и смело вскрыть то, что в течение долгих лет пряталось под вывеской «толстовства».

Я признаю все заслуги В. Г. Черткова как друга и помощника Л. Н. Толстого, как издателя и как общественного деятеля, но, приходя в Третьяковскую галерею, невольно с внутренним трепетом и скрытым ужасом вглядываюсь теперь в недобро затихшее, страшное второе лицо старика-деспота на портрете работы Нестерова, в это лицо с ястребиным носом,

с тупым, упрямым лбом и с бездонной, глухой и темной пропастью в глазах. Вглядываюсь также в эти страшные руки с длинными костлявыми пальцами, кажется, недвусмысленно угрожающими всякому, кто только попробует встать поперек пути этого современного воплощения «старообрядческого архиерея».

Все это правдиво изображенный Нестеровым старец годами переламывал в себе, но, кажется, так и не смог переломить.

Такова эта – вторая – ипостась В. Г. Черткова.

Из соединения, сложения обеих этих ипостасей, отраженных в двух портретах, восстает перед нами лицо телятинского помещика и душеприказчика Л. Н. Толстого»¹⁶.

VIII

Работы Булгакова являются важным дополнением в копилку собственно мемуарной литературы о Толстом, позволяя еще раз увидеть черты повседневной личной, профессиональной и творческой жизни писателя сквозь призму конкретного события, приводимых разговоров и даже через детали портрета, костюма и манер. Но одновременно эти мемуары, расширяя границы своего жанра, позволяют отчасти заглянуть в сознание Толстого, понять подлинное значение

¹⁶ РГАЛИ. Ф. 2226.

того или иного уже широко известного высказывания или малоизвестного фрагмента его черновой рукописи.

Л. Н. Толстой считал мемуары ценным и важным жанром, к которому также обращался по крайней мере однажды – в своих оставшихся, к сожалению, неоконченными «Воспоминаниях» (1903–1906).

Конечно, недостатка в доступной мемуарной литературе о Толстом нет. Это и воспоминания многих членов его семьи и множества друзей и знакомых, часть из которых представляла собой интеллектуальную элиту своего времени (среди них были ученые, писатели, композиторы, художники, артисты), а часть, наоборот, были скромными учителями, врачами, мелкими служащими, крестьянами. Достаточно назвать имена доктора Душана Петровича Маковицкого, пианиста Александра Борисовича Гольденвейзера, издателя Владимира Григорьевича Черткова, ученика яснополянской школы Василия Морозова, учителей Петра Морозова, Николая Петерсона (список может быть бесконечен), чтобы напомнить о том монументальном собрании мемуарной и дневниковой литературы, которое представляет подлинную панораму жизни и деятельности последних лет Толстого в конце XIX – начале XX века.

Говоря о значительности мемуаров Булгакова «Как прожита жизнь», не имеет смысла, да и нет необходимости противопоставлять их другим работам и как-либо выделять их в столь сомнительном ключе. Нет! Это еще одна хроника жиз-

ни семьи Толстых и их окружения, которая в первую очередь представляет ценность как добавление в копилку общих усилий в сохранении для последующих поколений образа великого писателя. Но нельзя в то же время не отметить, что вводимый в научный оборот и потому относительно «новый» труд Булгакова, несомненно, следует поставить в ряд с наиболее замечательными образцами этого жанра, обладающими каждый своими собственными неповторимыми достоинствами. И, наверное, одним, далеко не последним из них, является личность самого автора, нашедшая здесь отражение эволюции его собственного развития, его опыт осмысления как подаренной ему судьбой уникальной возможности близкого общения с гениальным и удивительным Толстым, так и выпавшей на его долю роли свидетеля бурных и значительных событий своего времени в столь различных обществах, как Россия и Советский Союз, мирная и оккупированная Чехословакия, довоенная и послевоенная Германия. Все это являет собой уникальный материал и предоставляет богатейшие возможности для исследователя.

Часть I

Москва

Глава 1

Университет и разочарование в нем

Отъезд из Томска¹. – За лиловой ромашкой Барабинской степи. – Впервые в Европе. – Первопрестольная. – «Малиновый звон». – Улыбка Клео де Мерод. – Кремлевские впечатления. – Университет. – Какие требования ставил я высшей школе и что я нашел. – Неудавшееся обращение к проф. Л. М. Лопатину. – Непедагогичность системы университетского преподавания. – Чтение лекций по печатным курсам. – Может ли философ быть членом реакционной партии? – Что изучать: учебники или классические научные труды? – Школьная учеба и искание истины. – Как вел практические занятия проф. Г. И. Челпанов. – Нищие о «доме ученых». – Разочарование в абсолютной ценности метафизики как науки.

Выехали мы из Томска вчетвером: я, Толя Александров, его мать Анна Яковлевна и сестра Леля, или Ольга Никола-

евна, тоже, как и мы с Толей, только что окончившая гимназию в Томске. Леля ехала в Москву – поступать в Училище живописи, ваяния и зодчества. Она везла с собой в качестве экзаменационного материала несколько этюдов маслом, в том числе довольно похожий портрет брата Вовы. К сожалению, работы ее не встретили признания у профессоров училища – знаменитых художников В. А. Серова и Л. О. Пастернака, которых мать Лели посетила, чтобы посоветоваться с ними о судьбе дочери. На девушку это произвело такое впечатление, что она совершенно и навсегда отказалась от занятий живописью.

Что касается А. Я. Александровой-Левенсон, обладавшей в Москве многочисленными знакомствами в музыкальном мире, то она решила, по крайней мере на один год, поселиться в Москве с сыном и дочерью, чтобы помочь им на первых порах их почти самостоятельной «взрослой» жизни в старой русской столице. Старик-профессор² остался в Томске вдвоем с младшим сыном Вовой.

Ехали мы все, кроме, разве, почтенной Анны Яковлевны, побаивавшейся будущего, радостные и возбужденные. В железнодорожном вагоне на долгом пути от Томска до Москвы попадались и приятные спутники. С моей уже определившейся любовью к путешествиям я был счастлив и рад каждой новой станции, каждому городу, новым типам, новым явлениям природы.

Любопытство к «новому» едва не сыграло со мной до-

вольно неприятной штуки, когда мы за Омском проезжали по Барабинской степи. Впервые заметил я из вагона во множестве растущую в тех местах лиловую (а не белую) ромашку. Этого цветка ни в Кузнецке, ни в Томске я не встречал. Цветок очень заинтересовал меня. Мне хотелось сорвать и поближе рассмотреть лиловую ромашку. Однако случай к тому не подвертывался. Но вот однажды, подъезжая к разъезду, поезд наш замедлил ход, а между тем из окна вагона я заметил, что как раз недалеко от коротенькой платформы разъезда, у самого железнодорожного пути, притаился в траве заинтересовавший меня цветочек. «Обязательно сорву, если на разъезде будет остановка!» – решил я. В самом деле, ведь хотя мы и ехали скорым, но все же нередко задерживались на разъездах, чтобы разминуться со встречным поездом. (Сибирская железная дорога в то время была еще одноколейкой.) Жду и действительно вижу, что поезд замедляет ход все больше и больше и, наконец, уже почти совсем останавливается.

Тогда я потихоньку схожу со ступенек вагона (наш вагон был последний) и, как ни в чем не бывало, иду в обратном по отношению к движению поезда направлении: цветочек-то оставался уже позади...

Вот и вожаденный лиловый цветочек. Наклоняюсь, срываю его и, довольный, повертываюсь, чтобы вернуться в вагон. Но, о, ужас! – Приходится прибегнуть к этому затрепанному литераторами всех времен и народов восклицанию –

гляжу: поезд-то мой, и не подумав остановиться, прибавляет ходу больше и больше и улепetyвает от меня во все лопатки.

Что делать? Не выпуская фиолетовой ромашки из одной руки и с широкой соломенной шляпой в другой, в своей голубой рубашке (весь свой студенческий «парад» мы везли в Москву для сохранности в чемоданах), я пускаюсь во всю прыть догонять поезд. Я бегу быстро, а поезд – еще быстрее. Боже, что же это будет?! В поезде у меня – весь багаж, проездной билет и деньги.

– Зачем же вы это из вагона-то выскочили?! – кричит мне начальник разъезда в красной фуражке, когда я вихрем проношусь мимо него.

– Я думал, что поезд остановится! – с отчаянием кричу я ему в ответ и бегу дальше.

Начинаю уже понемногу изнемогать, но собираю все силы, чтобы догнать уходящий поезд.

Поезд катится, однако, все быстрее и быстрее. Расстояние между ним и мною начинает уже не уменьшаться, а увеличиваться. Напрасно мне машут платками и руками с площадки последнего вагона, чтобы я бежал скорее. Нет, не могу! Я безнадежно махнул рукой вслед поезду и перестал бежать, но по инерции шел все же за поездом шагом. Дыхание прерывалось, пот катил с меня градом. Дело было проиграно!..

Вдруг – или это обман зрения? – мне показалось, что уже довольно далеко отошедший поезд вновь начинает замедлять свой ход, а крики Толи, Лели и других доброжелате-

лей-пассажиров на площадке последнего вагона становятся явственнее.

В то же время я услышал за собой голос начальника разъезда, спешившего ко мне с распушенным красном флагом в руке:

– Бегите же, бегите! Я остановил поезд.

– Спасибо! – кричу я и пускаюсь снова бежать.

Громада поезда опять приближается... ликующие крики «друзей» усиливаются... Но силы мои иссякли. дыхания нет. мускулы ног ослабели.

Я то бегу, то иду. А поезд – точно дразнит: не останавливаясь совсем, этак потихонечку-потихонечку ускользает от меня вперед. Догони, дескать!

Собираю остаток сил, с позволения сказать – «бегу». На площадке последнего вагона ревут. Вот и она. вот и последний вагон. поручни то приближаются ко мне, то опять ускользают.

Ну, еще шаг... два... три!..

Протягиваю вперед руку с ромашкой, хочу схватить поручни. хочу поднять ногу на ступеньку – не могу!..

Но. меня уже хватают сверху – за руки, под руки – и тянут, как утопленника из воды. Карабкаюсь кое-как, на животе, на коленях по ступенькам – и вот, невероятно! – я спасен, я – опять на площадке своего вагона. Ахи и охи, но уже счастливые, оглушают меня. Поезд опять ускоряет ход, но теперь ухо уже с такой отрадой ловит веселое и быстрое постуки-

вание рычагов. А главное, лиловая ромашка, какой нет ни в Кузнецке, ни в Томске, – со мной! Ура-а!

От пассажиров я узнал, что поезд был не остановлен, а *приостановлен*, действительно, начальником разъезда, видно, пожалевшим меня и начавшим усиленно размахивать красным флагом. Машинист заметил сигнал и послушался. Добрые русские люди! Добрые сибиряки! На Западе, пожалуй, не оказали бы такого внимания опоздавшему на поезд пассажиру.

Переваливая через Урал, мы с Толей почти не сходили с площадки вагона, сидя у отворенной двери и спустив ноги на ступеньки наружной лестницы. Холмы, леса, долины, петли и извивы пути, темно-синяя и зеленая краска всюду, все это было красиво. Но после Алтая совсем не поразило меня. Видели мы и знаменитый белый обелиск на холме³, над самым железнодорожным путем, с надписью на одной стороне – *Азия* (страна, из которой мы ехали) и на другой – *Европа* (страна, в которую я попадал впервые). Но еще более сильным впечатлением были *местные*, очень дешевые по сравнению с нашими сибирскими, привозными из европейской России, *яблоки*, которые мы смогли купить у крестьян едва ли не на первой же станции после того, как перевалили через Урал: другой материк! Другой климат! Другая флора!.. Мы в Европе! Именно дешевые, скромные яблочки, *которые мы ели там, где они родились*, сказали это нам больше, выразительнее, чем приземистый белый обелиск своими надпися-

ми. Я вступал в новый, «лучший», *европейский мир*.

И однако... мужики и бабы, толпившиеся на станциях, выглядели так убого! Совсем иначе, чем наши сибирские бабы и мужики: одежды – рваные. на ногах – жалкие лапти. лица – серые и заморенные. Да, это мне, студенту, весело было лететь из сибирской «глуши» в столицу, а трудовому-то крестьянскому населению Европейской России жилось, конечно, хуже, чем нашим сибирским крестьянам. Напомню снова, что в «дикой» Сибири никогда не было крепостного права, не было помещиков-самодуров и частного землевладения! Рабочему русскому народу дышалось, несомненно, вольнее по ту, азиатскую, сторону белого обелиска, чем по сую, европейскую.

А поезд летит все вперед и вперед. И вот уже гляжу я на матушку Волгу, Волгу-кормилицу, Волгу разбойную, Волгу разгульную, и гляжу действительно как на родную мать: лет триста-четырееста не видались – и вот *опять* вместе!

В жаркой Самаре мы ели виноград. В приютившейся поблизости от великого волжского моста Сызрани – чудную копченую стерлядь. В Туле – вкусные пряники местного изделия. Наступил, наконец, и день, когда из окна вагона показали нам реющий вдаль над великим древним городом золотой купол Храма Христа Спасителя.

Дожило. В закрытой четырехместной карете мы проехали с Курского вокзала в новую гостиницу на Сретенке, грязные, запыленные, усталые после восьмидневного пути. Так

экономии, что решили взять один общий номер на четыре человека, мужчин и женщин. Кое-как разгородились, разместились.

Утром просыпаемся мы с Анатолием. «Что это?!» Чудный, мелодический, гармоничный, поистине «малиновый» звон явно подобранных по тону колоколов лился вместе с цоканьем конских копыт по мостовой в открытые окна гостиницы. Это было так необычно, что мы тотчас вскочили и поспешили к окну: золоченые главы и главки церквей Сретенского монастыря возвышались перед нами. «Ну, – решили мы, – если *тут* так звонят, то какой же трезвон должен быть в Кремле или в Храме Христа Спасителя!..»

Нарядившись уже по-московски, в изящные костюмы и студенческие фуражки, отправились мы тотчас же после чая прямо в Кремль. Дорогу спросили на улице.

И вот – Сретенка, Большая Лубянка, растопчинский дом⁴, площадь Лубянских ворот с необычным для меня, сибиряка, видом белой зубчатой стены Китай-города и аркой Проломных ворот, затем – Никольская улица с своеобразным зеленым, по стилю приближающимся к готике зданием Синодальной типографии и, наконец, перед нами – неповторимая, ошеломляющая красота Красной площади, с собором Василия Блаженного и кремлевскими башнями.

Вот мы и в Кремле. Соборы. дворцы. исторические монастыри. памятники. Царь-колокол. Царь-пушка. чудный вид на Замоскворечье. Всем существом своим я, как русский,

сознавал и ощущал, что я стою на *священной* для каждого русского почве. Тут, в Кремле, творилась русская история. Сколько знаменитых имен, сколько драматических воспоминаний связано с Кремлем! «Как счастлив я, что наконец-то увидал эту колыбель моей отчизны, эту наковальню, на которой выковывались в течение веков судьбы России! – думал я. – Как можно быть русским и ни разу не посетить Кремля!»

Около Царя-колокола мы с Толей, именно в это первое наше посещение Кремля, случайно встретились со знаменитой тогда европейской красавицей Клео де Мерод, подругой бельгийского короля Леопольда II. Узнать ее не стоило нам никакого труда: из расклеенных по городу афиш мы уже знали, что Клео де Мерод гастролирует в театре «Эрмитаж» в качестве танцовщицы, а открытки с ее портретами, равно как с портретами другой знаменитой европейской красавицы того времени Лины Кавальери, были распространены по всей России: мы любовались ими еще в Томске гимназистами. «И как только такая прелестная женщина, – наивно рассуждал я, бывало, тогда же, – могла стать возлюбленной этого старика с невыразительным, деревянным лицом и лопатообразной бородой?!» «Этого старика» я, конечно, не знал лично, но в то же время как бы и знал, потому что прошел через увлечение филателией, а лопатообразная борода глядела на меня со всех бельгийских марок... Марка – не человек. И я, конечно, очень удивился бы, если бы мне сказали, что король Леопольд II, подаривший своей стране Конго⁵,

был человеком бешеных страстей.

Встреча с Клео де Мерод по неожиданности и случайности своей была поистине замечательна. Красавица и причесана была a la Cleo de Merode: со спущенными двумя полукругами на ушки темными волосами.

Приезжая знаменитость, видимо, как и мы, знакомилась с кремлевскими достопримечательностями. Она шла в сопровождении чопорного лакея, следовавшего за ней на расстоянии двух шагов. Миниатюрная, хрупкая, удивительно изящная, одетая в какой-то экзотический ярко-красный плащ и широкополую черную шляпу, Клео кокетливо улыбнулась двум юным студентам и светло поглядела на них своими неповторимыми – прекрасными, огромными, наивными – темными глазами. Чем-то далеким, заморским, вольным, обворожительным и счастливым повеяло на нас и от этого взгляда, и от этой улыбки. Нам казалось, что в лице красавицы сама утонченно-культурная Европа улыбается нам и приветствует нас!..

Величие и красота Кремля глубоко поразили нас. И в первые дни нашего пребывания в Москве мы с другом часто снова и снова возвращались в Кремль, чтобы полюбоваться его башнями и памятниками. Осматривали мы соборы, старый и новый дворцы, монастыри, Оружейную палату – снаружи и внутри. Страницы учебника русской истории оживали перед нами.

Как чудно сохранились парчовые одежды царя Алексея

Михайловича в Оружейной палате! В них только что облачался царь Николай II, и фотография его в этом одеянии обошла все русские журналы. А вот и знаменитая шапка Мономаха... Вот – кинжал в драгоценной оправе, подаренный одному из царей стольником или окольниковым Булгаковым, – нет ли хоть самой отдаленной, самой фантастической родственной связи между мною и им?! Вот Красное крыльцо, где судьба играла первейшими интересами России, сталкивая в кровавой схватке сторонников и противников десятилетнего Петра. Видавшая виды Грановитая палата! Тут верховная власть и ее советчики в присутствии «святейшего» окончательно «приговаривали», как и чему быть.

Келья патриарха Гермогена в Чудовом монастыре. И там же – мощи митрополита Алексея, исцелившего от слепоты ханскую жену Тайдулу. Благоговейно, – не столько из религиозного, сколько из патриотического чувства, – прикладываемся к мощам. Строгого вида, весь в черном, иеромонах с четками, как статуя стоящий неподвижно в изголовье мощей, благословляет нас.

Покрытые красными сукнами гробницы цариц и царевен в Вознесенском монастыре, столь необычном в византийском Кремле с своим готизированным фасадом. Вознесенский монастырь! Ведь это тут жила «моя» Марина Мнишек перед тем, как короноваться царицею московской!.. Одна из первых сцен моей незаконченной и уничтоженной драмы тут именно и должна была разыгрываться.

А полный величия и какого-то особого достоинства и благородства внутреннего Успенский собор? Как еще жива, красноречива и полногласна здесь старина! Правда, великое художественное творенье древности – икону Владимирской Божьей Матери я мог лишь облобызать, но упиться красотой ее еще не мог: икона не была еще *заново открыта* благодаря усердной инициативе Игоря Эммануиловича Грабаря⁶, и похоронившие свежие краски ее копоть и грязь еще не были устранены. Царское и патриаршее места. Круглая шапочка митрополита Петра. Тени царей и императоров российских, возлагавших на себя корону, здесь, посреди храма, стоя в мантиях на высоком помосте между этими четырьмя массивными столпами с древней живописью.

Около гробницы Дмитрия Донского можно было преклонить колена в Архангельском соборе. И, наконец, там же – это наиболее разительное, напряженно патетическое впечатление: в небольшом, как обыкновенная комната, но страшно высоком, темном и мрачном притворе – могила грозного царя, изувера и гения, и рядом. совершенно такая же, узкая и навеки безмолвная могила убитого им самим старшего сына и наследника.⁷

Я жил Кремлем в эти первые дни и месяцы пребывания моего в Москве. Жил углубленным и расширенным национальным сознанием, сознанием русского, впервые с полной отчетливостью осознавшего себя *русским*.

И так странно и непонятно мне было, что, как я скоро убе-

дился, среди коренных москвичей немало было таких, которые никогда не посещали старого царского дворца, не видели кельи Гермогена, не осматривали Оружейной палаты. Обыкновенная история! Приехав впоследствии в Прагу⁸, я и там имел возможность убедиться, что часто вновь прибывшие иностранцы или же провинциалы-туристы знали прекрасную, древнюю чешскую метрополию гораздо лучше, чем многие долголетние ее обитатели.

Европеизированная, новая часть города также нравилась мне. И одно только разочаровало меня и моего друга-музыканта в Москве: именно то, что никакого «малинового» звона нигде в древней столице, кроме как в Сретенском монастыре, мы не слышали. В Кремле, как это ни странно нам показалось, звонили вразброд и кое-как, так что уши вянули. Подобным образом звонили и в Храме Христа Спасителя. После я узнал, что подобранные по тонам колокола имелись в Москве, действительно, только в Сретенском монастыре.

В канцелярии ректора университета⁹ узнали мы с Толей Александровым, что и он, и я зачислены студентами. Это была большая радость. Дело в том, что нас могли не принять: как окончившие сибирскую гимназию, мы должны были, собственно, учиться дальше в Казани. Помогли, однако, наши золотые медали: от медалистов не хотел отказываться и столичный университет. К тому же, в свое время, весною, посылая из Томска в Москву свои прошения, мы обосновывали наше желание стать студентами именно *Москов-*

ского университета наличием в составе историко-филологического факультета этого университета серьезной философской школы, философской традиции, представленной именами профессоров Грота, Владимира Соловьева, князя Сергея Трубецкого и здравствовавшего еще Лопатина.

Помещение историко-филологического факультета в новом корпусе университета на Моховой улице, с его роскошным вестибюлем и с розовыми и серыми мраморными (quasi-мраморными) колоннами и просторными аудиториями, произвело на нас очень импозантное впечатление. Вот кабы и внутреннее достоинство новой школы, — школы школ, — отвечало этой роскоши!..

Университет, естественно, являлся для меня, молодого студента, центром духовных интересов в Москве. Тут именно, в университете, решалась задача моей жизни. В стенах университета должна была разыгаться последняя борьба между знанием и неведением, светом и тьмою в моей душе. Не театр, не музыка, не искусство вообще, но только высшая школа, с систематической, научной постановкой величайших проблем человеческого духа, даст мне то, чего я ищу. Наука, *философская наука* должна влить настоящее содержание в мою, уже опустошенную в результате религиозного кризиса, внутреннюю жизнь. В университетских занятиях выкую я свое мировоззрение, а с общим философским мировоззрением, разрешающим основной вопрос о смысле жизни, мне не трудно будет разрешить и те нравственные во-

просы, которые встают передо мной в житейской повседневности и подчас так жестоко мучают меня своей неразрешенностью. Университет был всем для меня в то время.

Добавлю, что и Толя Александров столь же серьезно относился к предстоящему нам прохождению университетского курса. Воспоминание о гимназии, столь жалкое по сравнению с теми перспективами, которые вырисовывались перед нами, стыдливо отступило и спряталось в самый задний уголок сознания. Мы были, разумеется, убеждены а priori, что та высшая школа, в которую мы теперь вступали, не могла иметь ничего общего с той, которую мы уже прошли. Там было только «уродование молодых душ», *здесь* мы готовились жадными устами припасть к источнику подлинного знания.

Таковы были мечты, а затем их сменила реальность.

Первая наша неудача состояла в том, что мы попали в Московский университет как раз в тот момент, когда менялись все его программы¹⁰, и академическая жизнь ломалась, уходя от старого порядка, но еще не освоивши нового. Как достижение «эпохи свобод», вводился новый, чрезвычайно либеральный устав: провозглашалась так называемая предметная система, стремившаяся удовлетворить лишь научным запросам студентов и совершенно игнорировавшая вопрос о практическом использовании приобретенных знаний по окончании университета, причем экзамены уничтожались, коллоквиумы (зачеты) можно было сдавать когда угодно и пр., и пр.

Словом, как казалось, *научное преподавание* именно с начала 1906/1907 учебного года должно было быть поставлено на небывалую дотоле высоту. К сожалению, творцы нового устава и те, кто вводил его, потеряли чувство реальности и не спросили себя, смогут ли они на деле справиться с немедленно, в полном объеме вводимым новым порядком. Отсюда – целый ряд недоразумений. В канцеляриях чиновники не умели как следует, просто и толково, объяснить массе сразу съехавшихся с каникул студентов всех деталей нового, довольно сложного порядка, в особенности его отличий от старого, и немудрено, потому что чиновники сами не понимали многого и путались в своих ответах на вопросы студентов. Преподавательского состава тоже, как оказалось после, не хватило для проведения новых программ во всей их полноте, чтобы не сказать – *пышности*, и потому всякая последовательность и систематичность в объявлении тех или иных курсов к чтению терялась. Кроме того, невыгода нового порядка была в том, что каждый вновь поступавший студент обязан был тотчас, в пределах намеченного им факультета, избрать узкую специальность или «группу» наук, с тем чтобы посвятить себя преимущественному ее изучению в течение всего времени пребывания в университете, начиная уже с первого курса. Так, наш историко-филологический факультет раздроблен был, вместо прежних трех отделений – словесного, исторического и классического, притом избиравшихся студентами лишь через два года по поступлении в

университет, – на 11 «групп» или отделений, по специальностям. Неопытным новичкам, только что соскочившим с гимназической скамьи, не прослушавшим еще ни одной лекции, очень трудно было сразу остановиться на той или иной специальности.

Нам с Толей Александровым очень хотелось посоветоваться с кем-нибудь по вопросу выбора специальности. С кем-нибудь понимающим, зрелым, стоящим на соответствующем уровне культуры и учености. И никого такого не было. Никого такого мы в Москве еще не знали.

«Ну, хорошо, – решили мы наконец, – кто главный из профессоров-философов в Москве? N? Ну вот к N мы и пойдем и посоветуемся с ним!»

Однако как это сделать? Подойти к быстро проходящему по коридору профессору, робко поклониться и на ходу задать ему вопрос, от того или иного решения которого зависело все направление нашей жизни? Нет, серьезного разговора в таких условиях получиться не могло: нам нужно посидеть спокойно и потолковать как следует с нашим воображаемым мудрым советником.

Я предложил отправиться к профессору N на его частную квартиру. Толя согласился.

И вот мы уже стояли перед парадной дверью небольшого мутно-зеленого барского особнячка с белыми колоннами в одном из переулков на Пречистенке. Звонок. Выходит лакей.

– Что вам угодно?

Мы подали свои визитные карточки и говорим, что хотели бы поговорить с господином профессором.

– Вы студенты?

– Да.

Лакей уходит и скоро возвращается.

– Студентов по делам университета, – говорит он, – его превосходительство принимает только в канцелярии университета, в назначенные дни и часы!

Дверь захлопывается. Мы, грустные, уходим не солоно хлебавши.

Разыскивать проф. Н в университете мы не стали. Как-то вдруг и доверие к нему пропало.

В конце концов, после долгих сомнений и колебаний, мы с Толей Александровым избрали последнюю группу, «группу L» – философских наук. Лично меня больше тянуло на словесные группы, русской или всеобщей литературы, но, следуя отчасти за Толей, с которым я и тут не хотел расставаться, я, как и он, остановился на философской группе. И это было моей немаловажной ошибкой, откуда началась та трещина, которая возникла впоследствии между мною и университетом: по складу своему я все-таки более склонен к усвоению словесных, чем отвлеченно-философских наук.

Огромное доверие к науке и ее служителям принес я в университет. Профессора, действительно, казались мне жрецами в храме мысли. Но с первых же шагов, не говоря уже о неудачном визите к N, я стал натекать на странные вещи,

не мирившиеся с моим предвзятым идеальным представлением об университете и сначала казавшиеся случайными, досадными помехами на моем пути. По крайней мере, так я старался их себе объяснить, пока постепенно не пришел к выводу о неудовлетворительности всей вообще постановки университетского преподавания, и притом в зависимости от причин самого широкого и общего характера.

Начав посещать лекции, я очень скоро убедился, что ученая коллегия довольно мало склонна считаться с моими насущными интересами как студента. Объявленные курсы лекций по отдельным предметам распределены были в высшей степени беспорядочно: например, новую философию мы должны были слушать прежде древней, целый ряд либо узко специальных, либо необязательных курсов предшествовал чтению пропедевтических и основных курсов по нашей специальности. (Правда, как я уже говорил, в этом могла быть виновата и неразбериха, вызванная переходом к новому порядку преподавания.) Кроме того, профессора решительно игнорировали вопрос о том, насколько подготовлены их слушатели к восприятию того или другого специального курса, излагавшегося обычно без всяких необходимых вводных пояснений тяжелым, так называемым «научным» языком, с убийственной терминологией. Между собой отдельные курсы разных профессоров были абсолютно не согласованы, то есть не только не дополняли последовательно друг друга, но иногда даже как бы и враждовали взаимно. Конеч-

но, из столкновения мнений рождается истина, но для нас, студентов первого курса, желательно было бы получить впечатление большего единства. Разрозненные научные сведения проходили перед нами, но мы не видели *единоголица науки*.

Больше того, мы сталкивались еще и с тем почти анекдотическим обстоятельством, что каждый профессор в своей вступительной лекции выдвигал на первый и исключительный план именно ту науку, преподаванием которой он занимался. Логик называл логику матерью всех других наук, гносеолог – гносеологию, психолог – психологию, историк философии – философию и т. д. Но никто, никто из них не пытался представить нам синтез всякого знания в общих основоположениях единой научной истины. Каждый охаживал только свой кустик. И получалось – ложное ли, справедливое ли, но во всяком случае нежелательное с точки зрения профессорско-педагогической – впечатление, что единой научно-философской истины и не существует, как это на самом деле и было в области идеалистической философии.

Самое чтение курсов протекало в высшей степени хаотично и беспорядочно и часто комкалось и прекращалось вследствие целого ряда случайных причин: болезни лектора, перевода профессора из одного университета в другой, внезапной студенческой забастовки и т. п.

Об одном, немолодом уже, но очень изящном и, как говорили, очень богатом преподавателе, почти никогда не посе-

щавшем лекций, так что мы то и дело расходились из аудитории безрезультатно после долгого и напрасного ожидания его, известно было, что он подвержен запоям. Но почему же в таком случае такого преподавателя держали на его посту? Нам это было непонятно.

В отношении неаккуратности наших новых лекторов дело шло много хуже, чем в гимназии, где в подобных случаях обязанности преподавателя возлагались на другого и общий ход преподавания все-таки не нарушался. В университете этого не было. Правда, студентам «зачитывали» и эти скомканные и недочитанные курсы, но кого же из желавших серьезно учиться слушателей университета такие «зачеты» могли удовлетворить?!

Наконец, через некоторый промежуток времени я убедился еще и в том, что слушание лекций – довольно непродуктивное занятие по той простой причине, что большинство лекций уже издано и только перечитывается профессорами по готовому печатному тексту снова и снова. Помню, как поразило меня это открытие, сделанное мною совершенно случайно именно на лекции профессора Л. М. Лопатина: старательно записывая один раз лекцию Лопатина по истории новой философии (а он читал всегда с большим апломбом, как-то выкрикивая, выбрасывая отдельные слова, будто лая), я услышал, как на скамейке позади меня два молодых студента забавлялись тем, что потихоньку подсказывали почтенному профессору наперед каждую его фразу. Обернувшись, я

узнал, что перед товарищами лежит несколько лет тому назад отпечатанный курс лекций нашего философа, и он теперь повторяет этот курс слово в слово. Не трудно представить, какое это на меня произвело впечатление! Я бросил карандаш и перестал записывать. А потом перестал и ходить на лекции проф. Лопатина. Между прочим, лекции того же Лопатина по психологии оказались тоже простым вычитыванием печатного и свободно продававшегося в магазине Карбасникова курса.

Профессор состарился. Курсы когда-то были глубоко обдуманы, добросовестно проработаны, написаны. Если следить за всей новой литературой, если подвигаться самому вперед в мышлении, то можно бы и нужно было бы, конечно, все снова и снова перерабатывать, дополнять старые курсы, но... голова устала, хочется покоя, университетское жалованье идет правильно, появляется соблазн заслужить его без работы и напряжения, соблазн «отчитываться» перед студентами два раза в неделю по старому тексту. И так как никто профессора не контролирует, то это оказывается возможным.

Л. М. Лопатину, идеалисту соловьевского типа, должно быть, действительно надоели его выступления перед студентами. (К сожалению, студенты тут были ни при чем!) К обязанностям своим он относился совершенно формально. «Отчитавшись», экзаменовал впоследствии студентов тоже формально: совершенно не интересуясь тем, как они отвечают,

ставил им снисходительно удовлетворительные баллы даже в тех случаях, когда они ровно ничего не знали. Практических работ со студентами никаких не вел, сочинений им не задавал. От Ильи Львовича Толстого и от писателя Ивана Алексеевича Бунина я узнал через несколько лет, что Лопатин был завсегдатаем широко популярного тогда в Москве клуба при Московском литературно-художественном кружке¹¹ в доме Востряковых на Большой Дмитровке: приезжал поздно вечером и оставался там за ужином чуть не до рассвета среди «ликующих, праздно болтающих», в залах, переполненных представителями московской буржуазии, картежными игроками, литераторами, богатыми врачами и адвокатами, актерами и балетными дивами, в сутолоке и гвалте, в атмосфере, отравленной табачным дымом и алкогольными испарами... О вкусах, конечно, не спорят... Я знал за границей поэта, русского эмигранта (П. П. Потемкина), который в такой только трактирной, ресторанной, клубной обстановке и мог писать. Есть тоже у каждого человека свои пристрастия и слабости. Но все же: место ли было истинному философу в таком кабаке?

Студентом я об этой странности старика Л. М. Лопатина, правда, и не знал. И хорошо, что не знал. Но тогда, в молодые годы, выдвигалось против него другое «обвинение». Лопатин, превыспренный соловьевец, был членом партии «октябристов»¹², подслуживавшейся к правительству Николая II, правобуржуазной гучковской партии, известной в широ-

ких кругах русского прогрессивного общества под названием партии «чего изволите?». Что загнало туда философа?! Приверженность к капитализму? Неверие в высокий социальный идеал, в политический прогресс? Но на что же, в таком случае, нужна была ему его философия?

Эти вопросы о Лопатине с особым упорством и недоумением ставил себе и нам всем, студентам-философам, один из наших товарищей по «группе L» бывший народный учитель, вместе со мною экстерном державший в Томске экзамен на аттестат зрелости, человек довольно оригинальный и сильный, Константин Николаевич Корнилов, впоследствии сам ставший профессором Московского университета по кафедре психологии, а в настоящее время (1946) являющийся не более и не менее, как вице-президентом Академии педагогических наук РСФСР Блондин с серьезным, почти суровым лицом, пышными светлыми усами и предоброй, детски-чистой улыбкой, Корнилов не столько негодовал по поводу того, что философ записался в «октябристы», сколько хотел указать нам, своим товарищам, какую малую цену имеет весь пресловутый лопатинский идеализм, если в конце концов он мог привести философа только к этому «октябризму». Сам Корнилов был в те годы социал-демократ-меньшевик¹³. Его убежденность вызывала во мне искреннее уважение.

«Вот была бы карьера, — думал я, — четыре года изучать под руководством Л. М. Лопатина идеальнейшую, превыспреннейшую, отвлеченнейшую философию для того, чтобы

затем записаться в партию «чего изволите?».

Перестав посещать большинство лекций, я решил, что смогу с гораздо меньшей затратой времени и сил проштудировать их и сдать на экзаменах (университетские «зачеты» оказались ничем иным, как экзаменами), по книгам. Но и тут я наткнулся на явление, которое, в сущности, тоже никак не могло упрочить моего доверия к университету, а наоборот, могло только еще более ослабить его.

Как известно, студенты учатся по книгам, рекомендуемым профессорами. И здесь у всякого профессора стоит обыкновенно на первом плане его собственный учебник, если таковой имеется, или же данный, читаемый им курс лекций, если особого учебника профессор еще не написал. Студенты обыкновенно только его и проходят, так как на экзамене – и это факт – всякий профессор требует если не исключительно, то главным образом знания своего учебника или курса. Профессор *обязывает* в этом студента. Что же получается? Молодой человек, любознательный, желающий приобщиться к науке, должен знакомиться с нею не по первоклассным трудам первоклассных авторов, а по литографированным лекциям разных посредственностей...

Явление это самым плачевным образом отзывалось на успехе истинной научной работы, причем, как я замечал, оно главным образом отзывалось вредно именно на наиболее даровитых и старательных студентах. Вынужденные вместо великих книг и сочинений изучать труды далеко не

«великих», доморощенных университетских ученых, такие студенты могли успешно проходить университетский курс только при условии игнорирования или кастрирования своих собственных, самостоятельных, действительных духовных запросов. В противном случае прохождение ими университетского курса неизбежно замедлялось, а иногда и не дотягивалось до конца.

Я помню, как однажды я и сам изображал собою буриданова осла: мне надо было готовиться к очередному «зачету» и одолеть университетский учебник, а между тем я как раз заинтересовался книгой немца д-ра Эльцбахера «Анархизм» (с изложением главнейших анархистских теорий, в том числе – Бакунина, Кропоткина и Толстого), появившейся незадолго перед тем в русском переводе. Книга глубоко захватывала меня, но я не мог вполне погрузиться в нее (в то время я, собственно, ничего не «читал», а все «изучал»), потому что мешала необходимость сдавать «зачет» по университетскому учебнику. Я в напрасной (с теперешней моей точки зрения) тревоге кидался от одной книги к другой и, в результате, как это ни смешно, действительно, не одолел ни той ни другой из них. Книгу Эльцбахера пришлось сдать в библиотеку, а «зачет» отложить до следующего полугодия!..

В моем представлении оставалось еще не поколебленным значение «практических занятий» в университете, так называемых семинариев и просеминариев, на которых читались студенческие рефераты и производилось их обсуждение. Но

непосредственное участие в этого рода университетских занятиях скоро заставило меня и тут отказаться от каких бы то ни было особенных ожиданий. Почему? Да потому, что и тут я увидал только *школьную учебу*, а не искреннее, совместное *стремление учеников и учителей к истине*, на которое я рассчитывал.

Как ученик, я искал руководства у своих новых учителей, преподавателей идеалистической философии, и полагал, что они действительно приобщат меня к общепhilosophическому знанию, к последним достижениям в области мысли, к определенному, стройному и цельному мирозерцанию, — словом, отдадут мне лучшее, что имеют сами, поделятся и со мной, и с моим другом, и с другими неопытными студентами теми *выводами*, которые сделаны ими для самих себя из долголетнего изучения философии. Но я ждал напрасно, потому что выводов-то, в сущности, тут и не было, и мне не могли их предложить. Меня ставили лицом к лицу со всем разнообразием иногда совпадающих друг с другом, а иногда не совпадающих и враждебных между собой философских теорий и научных фактов, предлагая самому разобраться в вопросе об их объективной ценности, а следовательно, и о степени моего личного, субъективного доверия к ним. Самое *перечисление* этих теорий и фактов и составляло, по-видимому, вполне достаточный предмет науки, с точки зрения профессоров, между тем как вопросу о связи моего собственного душевного мира с плодами внутреннего опыта прежде

живших мыслителей, по-видимому, не придавалось первенствующего значения. Мне нужно было решить вопрос о том, *как и чем мне жить*, а вместо этого я должен был с бесстрашием собирателя насекомых разбираться в коллекции очень любопытных и остроумных, но в большинстве случаев отвергающих друг друга и коренным образом противоречащих друг другу метафизических теорий и систем, без мысли и надежды, что я ищу и найду там что-то для себя лично, а лишь в уверенности, что вот это самое регистрирование всей этой пестрой вереницы теорий и систем и размещение их по соответствующим рубрикам философского лексикона имеет какое-то самодовлеющее научное и философское значение.

Вот, например, как велись «практические занятия» у весьма популярного московского профессора Георгия Ивановича Челпанова, считавшегося, как исключение, незаурядным педагогом среди общей массы профессоров, лишенных, по большей части, какого бы то ни было педагогического чутья.

Г. И. Челпанов перевелся к нам из Киева в середине учебного года, – не то первого, не то второго года моего пребывания в университете, – и развил сразу кипучую деятельность: читал лекции – не в пример Л. М. Лопатину – наизусть и очень живо, с полным учетом степени нашей подготовленности и нашего понимания, вел просеминарий по истории философии, основал психологический семинарий для особо подготовленных и особо выдающихся студентов и т. д. Надо

ему отдать справедливость, он искренно и с увлечением отдавался своей ответственной научной и научно-педагогической деятельности. Мой сибирский друг Корнилов по приезде Челпанова, которого долго ждали, разочарован только был его *внешностью*; прилизан, горбатый нос, гладко выбритый подбородок, небольшие усы, сладкие армянские глаза, лысина, бойкие и даже суетливые движения, – «не то портной, не то парикмахер», как говорил, мрачно насупясь, Константин Николаевич. Ему казалось тогда, что у всех истинных профессоров глаза должны глубоко западать в глазные орбиты, как у Ницше, а усы... ну, и усы должны быть порядочные, свисающие в рот, ницшеанские.

Челпанов вел просеминарии (т. е. практические занятия для начинающих) по Спинозе и по Лейбницу: мы читали по-латыни «Этику» и по-французски «Монадологию». Каждый студент по очереди должен был подготовить для каждого отдельного собрания перевод, а также и свой комментарий нескольких параграфов разбираемого сочинения, по поводу которых происходил затем общий обмен мнениями. Настала и моя очередь – помню, одна из первых. Кажется, сначала по Спинозе. И я отнесся к своей задаче так. Переведя и разобрав определенное место «Этики» – ряд пропозиций, схолий и короллариев. я сейчас же задался вопросом по существу: прав или не прав *для меня* Спиноза? Могу ли я согласиться с его утверждениями или нет? *Я не согласился.* И в результате возник *критический* комментарий с разбором

вопроса *по существу*, с ядовитыми цитатами из Шопенгауэра о философах, высиживающих понятия в своих *оссипут'ах* и т. д. Подготовив такого рода комментарий, я мог сказать себе: вот, один маленький этап моей работы по исканию идеалов пройден, я откинул часть рассмотренного материала, препятствий по дороге меньше, – вперед же!.. Однако не тут-то было. И прочесть в таком виде моего комментария мне не пришлось.

Профессор смотрел на дело иначе. Я знаю его взгляд: юнцы, едва переступившие порог университета, вообще отличаются незаурядной храбростью и часто готовы, не очень задумываясь, валить и крушить великанов мысли, Лейбницев и Спиноз. Надо их держать в нужных границах, рвение их сокращать и направлять не на скороспелую самостоятельную работу, а главным образом, и даже исключительно, на *изучение* того или другого материала. Профессор систематически проводил этот взгляд в своей педагогической практике, и, например, для участников просеминариев, комментаторов Лейбница и Спинозы, им было установлено правило: перед чтением переводов и комментариев в собрании студентов являться к нему и с глазу на глаз знакомить его с содержанием и характером предстоящего сообщения. Тут профессор сокращал и обчищал юных комментаторов. Не буду спорить, даже заранее соглашусь, что система проф. Челпанова, вероятно, освободила общие собрания просеминариев от выслушивания большого количества вздора и от потери значительного

количества времени. Но не могу не сказать, что она, убивая непосредственный, живой интерес к предмету, убивая вкус к мышлению, совершенно изменила, в соединении со многими другими факторами, мое отношение к университетским занятиям философией.

Когда я накануне своего выступления в просеминарии выходил из кабинета почтенного профессора, «сокращенный и обчищенный» (прекрасные цитаты из Шопенгауэра, увы, улетели безвозвратно!), в душе моей зарождалось уже сомнение, разросшееся скоро в уверенность, что не дадут мне в университете подойти к *выводам*, а все, и так до самого окончания, будут ограничивать меня только «подготовительными», беспристрастными и бесстрастными экскурсиями по разным книжкам.

В самом деле, для чего мы, 100 человек, собравшись вместе, читаем Спинозу? Где наш руководящий принцип? Отчего никто не объяснил нам его? Почему никто из нас не догадался в одно прекрасное утро встать и сказать:

– Послушайте, господа, да для чего мы сидим тут, «уставя брады» в «Этику», и, как новые схоласты, толкуем и перетолковываем *букву* Спинозы? Для чего мы сознательно, как посторонний и не имеющий отношения к нашим занятиям, отбрасываем тот вопрос, который мы должны были бы прежде всего поставить себе, принимаясь за Спинозу, именно вопрос о *цели* изучения Спинозы? Или ответ на этот вопрос подразумевается? Я его не вижу. Если бы при изучении мы

не скрывали друг от друга нашего *отношения* к изучаемому предмету, я понял бы смысл нашего собрания. Это было бы серьезное совместное искание философской истины. Но беда в том, что мы сознательно воздерживаемся от субъективной оценки того, что мы вычитываем в «Этике». Вы скажете, это будет *потом*? Не лукавьте! Таких «потом» в университете не бывает. Лучше согласитесь со мной, что мы оседлали того самого Пегаса, который носил Ансельмов и Росцелинов по дебрям средневековой схоластики, а теперь радуемся, что его услугами пользуемся мы. Церковно-догматические путы порваны, тем крепче связывают рядом условностей другие, псевдонаучные, университетские!..

Но таких речей в наших просеминариях не высказывалось. Между тем подобные мысли, смею думать, бродили не только у меня одного в голове. Но ведь тут в борьбу с ними вступал авторитет университета и, конечно, по большей части, побеждал. *Magister dixit*¹⁷...

Итак, на другой день после ученого *tete-a-tete*¹⁸ с профессором я с тоской в душе читал студентам свои приведенные в «приличный» вид комментарии по Спинозе, а через некоторое время по Лейбницу, читал бесцветно, дурно, без всякого интереса, потому что сорван был мой план, потому что пресечено было *живое* отношение к изучаемому, – и получил зачет обоих просеминариев. Я видел многих студентов,

¹⁷ Учитель сказал (*лат.*).

¹⁸ общения наедине (*фр.*).

которые удовлетворялись такого рода работой. Я ею удовлетвориться не мог.

Я даже не могу сказать, что виноват тут был профессор и что напрасно он пользовался своей методой преподавания. Нет! По-своему, он, вероятно, был прав. Я хочу указать здесь на то, что, как я скоро убедился, *научная работа в университете и мои запросы к жизни оказались двумя параллелями*, они шли рядом, но не сливались и не взаимодействовали. Я увидел, что так будет, пока я состою студентом, и так будет, если я пойду дорогой университетского ученого: философия обратится для меня в источник бесконечных и совершенно бесплодных исканий и умствований, в своего рода не истощающееся «гастрономическое» блюдо. Философия – сама по себе, жизнь – сама по себе. Вот это-то сознание, укрепившись во мне, и выгнало меня, в конце концов, из университета.

Подобно Ницше, я мог сказать, «Истинно, что ушел я из дома ученых и дверь за собой захлопнул. Слишком долго сидела душа моя голодной за столом их. Они прохлаждаются в прохладной тени, они хотят быть во всем только зрителями... Подобно тем, кто стоит на улице и глазеет на проходящих, так ждут и они и глазеют на мысли, придуманные другими...»¹⁴

Правда, история философии говорила и другое. «Когда я читаю историю философии, – писал я между прочим в своем студенческом дневнике, – в моем воображении всегда ри-

суется обливающееся кровью человеческое сердце. Не презирайте же ее (философии) стремлений! Даже если они кажутся вам бесплодными. — ...Потому-то и ценна философия, что *в нее верят творцы ее*. Если бы она была лишь следствием гимнастики ума, сухого расчета, можно было бы с легким сердцем пройти мимо нее. Но если философы мучаются, в буквальном смысле слова, своими сомнениями, если они дают обеты Богородице, лишь бы избавиться от этих сомнений, как Декарт, если они упорно ищут истины всю жизнь, как Джордано Бруно, и если находят высшее удовлетворение и счастье в открытой истине, то мы и не имеем права и не можем пройти мимо этого открытия, не заглянув в него, ибо, во-первых, ἄνθρωπος πὸς ἐστὶ ζῶον πολιτικόν¹⁹, а во-вторых, мы и сами мучаемся такими же сомнениями и ищем их разрешения. Если же все это так, то факт, что всегда будет существовать философия, неоспорим. Неоспоримо и ее значение».

Но такого рода благие рассуждения не удержали, однако, меня лично на попрание объективного, научного исследования философии. Если истины философии имеют только *субъективное* значение для их творцов да еще (по мысли Фихте) для тех, кто «по своим личным свойствам» остановит свой выбор на той или иной философской системе; если проф. Челпанов может в своем «Введении в философию» с наивной откровенностью заявлять о каком-нибудь Вундте,

¹⁹ Человек — общественное животное (*древнегреч.*).

что «его построение в настоящем десятилетии может удовлетворять, тогда как, может быть, в следующем десятилетии его придется переработать», — то какая же *абсолютная, неизменная* цена такому знанию «основы всех вещей»? Ломаный грош? А ведь именно такого абсолютного, неизменного знания о мире жаждала моя душа, как жаждет его и душа всякого духовно ищущего человека.

О *религиозном подходе* к вопросам, выдвигаемым метафизикой, я в то время не мог и думать. Мне и в голову не приходило, что подход этот по-настоящему несравненно более *научен*, чем чисто рассудочный, отвлеченно философский подход. Представление о всякой религии неизбежно связывалось для меня тогда с представлением об отвергнутой мной Церкви, почему единственной мыслимой опорой для себя в моих внутренних блужданиях я и считал разумное знание. И вот я потерпел крушение и на этом пути.

Пережить это крушение было, пожалуй, не менее мучительно, чем переживать в свое время отход от православия. Обманутый в своих ожиданиях и официальной религией, и официальной наукой, я был как человек, брошенный на дно пропасти, перед которым убрали сначала одну, а потом и другую лестницу, сулившую ему надежду на спасение, и которому оставалось только впасть в полное отчаяние.

Случилось то, чего я уж никак не ожидал, едучи в Москву: разочаровал не только университет, превратившийся в моих глазах в своего рода гимназию повышенного типа, но

разочаровала и наука или, во всяком случае, так называемая «научная», идеалистическая философия. Приглядеться к *материалистической* философской мысли, увы, никто меня не надоумил. В этом и сказалось отрицательное значение «московской» (идеалистической) философской школы.

Сложить оружие я, однако, не собирался. Предстояла новая борьба за мировоззрение. Но какая, на каком пути, я и сам еще не знал.

Глава 2

Университетские профессора и внеуниверситетские интересы

Профессора-философы в университете. — Отношение студентов к экзаменам. — Секрет обаяния и славы В. О. Ключевского как лектора. — Проф. Р. Ю. Виппер и его запоздалое отречение от собственного метода понимания и преподавания истории. — «Иду за гробом своего брата». — С. А. Муромцев. — Неприязнательный протоиерей на университетской кафедре. — Политические волнения среди студентов. — Условное исключение из университета и обратное принятие. — Председательствование в Сибирском землячестве. — И. А. Богашев и Кружок сибирской библиографии. — Студенческое Общество любителей искусств и изящной литературы. — Знакомство с проф. В. Ф. Миллером и участие в заседаниях Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. — На юбилее проф. В. Ф. Миллера.

Кого я слушал еще в университете, кроме Челпанова и Лопатина? Из философов при мне читали еще доценты Давид Викторович Викторов, Тихомиров (имени-отчества которого не могу установить) и А. С. Белкин.

Из них наиболее приятное впечатление серьезным отношением к своей задаче, глубиной ума и благожелательностью к студентам производил первый — человек лет 35, невысокий и коренастый, с короткой шеей, с темной бородкой клинышком, всегда корректный и даже — на вид — довольно сухой и замкнутый. У него я сдавал просеминарий по Декарту, много потрудившись над своим докладом («О Боге, что он существует») и вызвав особо одобрительный отзыв преподавателя. Он же читал об эмпириокритицизме Авенариуса и Маха. Курс был хорош, но нельзя было его предлагать студентам-новичкам, не ознакомившимся еще с общими основами философской науки. Д. В. Викторов, во всяком случае, вызывал к себе искреннее уважение у всех слушателей. Это был действительно философский ум. И как странно и грустно было мне услышать через несколько лет, что сухой, корректный, глубокий Д. В. Викторов покончил жизнь самоубийством!

Лекции доц. Тихомирова по гносеологии были тоже очень серьезны и содержательны, хотя и излагались чересчур специальным, «заумным» языком, без всякого «снисхождения» к молодым слушателям. В середине года лектор вдруг исчез, курс прервался. Не знаю, откуда пришел Тихомиров в университет и куда из него удалился. Не был ли он из преподавателей Московской духовной академии? Похоже было на то. Что-то от семинариста было в этом высоком человеке с мелкими чертами квадратного, розового, точно распаренного в

бане лица, с рыжеватой бородкой и с торопливой, бегущей как ручеек и точно от себя самой убегающей речью.

И, напротив, весьма аристократичной внешностью отличался доцент А. С. Белкин, читавший логику. Высокий, бледный, элегантный, с изящной седой бородкой клинышком, он напоминал немного портреты П. И. Чайковского. Этого лектора мы никогда почти не видали. Ученик известного в свое время профессора логики М. М. Троицкого, он манкировал своими обязанностями вовсю. Едва ли за год он прочитывал больше двух-трех лекций. У него, тем не менее, ухитрился я держать экзамен по курсу Троицкого и получил «весьма». В университете было три балла: «весьма удовлетворительно» (или, сокращенно, «весьма»), «удовлетворительно» (сокращенно: «у» или «утка») и «неудовлетворительно». До проставления последнего обычно не доходило: в случае неудовлетворительного ответа профессор «прогонял» студента, чтобы он подготовился лучше и через некоторое время явился на экзамен снова. Бывали случаи, когда профессор «гонял» студента два, три раза и даже больше. Иной бородатый дядя проваливался позорно, как гимназист, потом снова являлся на экзамен, обнаруживал ту же самую степень подготовленности, или, вернее сказать, неподготовленности, бывал «прогнан» снова и потом снова являлся искать счастья. Присутствуя на экзаменах, я часто поражался тем, какую околесицу позволяли себе нести иной раз студенты, – повторяю, по большей части – совершенно взрослые,

сложившиеся люди! Это не бывало простое, случайное, а *зlostное* незнание, если можно так выразиться. Щадили гг. профессора таких «искателей» напрасно. Экзамены в высшей школе должны были быть или уже совсем уничтожены, или вестись серьезно, а не по-гимназически, со случайно вытянутыми выигрышными или проигрышными лотерейными билетами. *Как они велись*, унижало одинаково и профессоров, и студентов.

Лопатин, Челпанов, Викторов, Тихомиров и безнадежно страдавший абсентеизмом¹⁵ Белкин и были, так сказать, *основой* философского отделения факультета, – основой недостаточной. За четыре года, пока я учился в университете, никто ни разу (за смертью С. Н. Трубецкого) не объявил даже курса лекции по истории древней философии. Так она и осталась не зачитанной. Были и другие существеннейшие прорехи в преподавании. При таких условиях и возможностях лучше было не торопиться открывать специально-философское отделение и не опубликовывать многообещавшей, но не выполнявшейся его программы.

Из профессоров-«нефилософов», конечно, первым и прежде всего следует назвать Василия Осиповича Ключевского. Это – самое яркое мое впечатление в университете. Я был рад, что еще застал знаменитого историка читающим лекции. Это было уже незадолго перед окончанием его преподавательской деятельности.

О В. О. Ключевском уже много писали, и под теми выра-

жениями восхищения со стороны его учеников и слушателей его изумительным лекторским талантом, равно как и читавшимся им курсом русской истории, я могу только обеими руками подписаться. На университетской кафедре В. О. Ключевский был редким и, можно сказать, *единственным* в своем роде сочетанием трех высоких качеств, а именно – глубокой, основательной учености, выдающегося писательского таланта и, может быть, еще более выдающегося мастерства художественного чтения, и даже не чтения (в чтении всегда, хоть в ничтожной доле, есть что-то механическое), а *живого произнесения*. В самом деле, как ни замечателен и как великолепно ни написан курс Ключевского, впечатление, получаемое от него *читателем*, не могло ни в коем случае равняться с действием чтения или произнесения отрывков (отдельных лекций) из этого курса *самим автором* перед студенческой аудиторией. Это было высшее, беспримерное обаяние и очарование, когда блестящий артист-лектор буквально царил в сознании слушателей, сливался с ними в одно многоголовое, но единой мыслью проникнутое и единым чувством живущее существо. Да, Ключевский был артист, артист на кафедре. Он, в сущности, *проигрывал* перед вами роли всех тех исторических лиц, которых он касался, даже если при этом не прибегал к чтению монологов, а только описывал. Талантливо написанный текст своего изложения Ключевский оживлял в десять раз мастерским своим чтением, сообщая ему несказанную экспрессию. Этому старичку с

наружностью московского подьячего – сутуловатость, козлиная бородка, живые, темные, все видящие глаза под очками, ручки, скромно сложенные на кафедре, к которой он, стоя, притулился правым боком – позавидовали бы, наверное, в мастерстве чтения и Щепкин, и Садовские, и Москвин, если бы его услышали. Ключевский на самом деле был *первоклассный артист*, и этим-то именно покорял свою аудиторию, как покоряли публику в театрах своим личным обаянием и своей неподражаемой передачей чужих написанных текстов великие корифеи сцены. В этом, то есть в таланте художественного чтения, весь секрет великого обаяния и славы Ключевского как лектора.

Он выступал в самой большой, так называемой Богословской аудитории нового корпуса историко-филологического факультета. Тут читались лекции по богословию. Так как богословие было обязательным предметом для студентов всех факультетов, то для него и отвели самую большую аудиторию, тысячи на полторы – на две слушателей. Но действительно наполнялась, наполнялась до отказа, Богословская аудитория только во время лекций Ключевского.

Я все время говорю о чтении или произнесении *писанных* лекций Ключевского. Да, Ключевский не импровизировал. Он читал или «произносил», имея перед глазами полный печатный текст своих лекций. Но только делал это так ловко и незаметно, что большинство слушателей даже и не подозревало, что лектор читает. Сложенные вдвое или втрое лист-

ки Ключевский перед началом лекции вынимал из бокового кармана своего поношенного черного сюртука, небрежным жестом клал вправо от себя на кафедру, потом незаметно разглаживал их ладонью и, прижавшись к кафедре сбоку, все время косился на листки и подчитывал.

Расскажу о забавном случае, когда я перемолвился с В. О. Ключевским двумя словами. Однажды после лекции я подошел к профессору и почтительно попросил его подарить мне на память тот «конспект» (я не знал еще тогда, что это не конспект, а полный текст), по которому он сегодня читал лекцию. Но Ключевский отказался это сделать, как я ни просил.

– Нет, нет, конспекта я вам не дам! – говорил он, точно защищаясь от меня прижатыми к груди руками и при этом лукаво усмехаясь. – Я лучше напишу что-нибудь другое и принесу вам!

Я не знал, что расстаться с конспектом так непросто, и не смел обременять профессора просьбой о специально для меня приготовленном автографе. Думаю же, что Василий Осипович просто не желал давать мне печатные странички из своего курса.

В другой раз в аудитории собралось народу, как сельдей в бочке. Человек на человеке стоял. Оказалась заполненной и вся та огромная ниша, в которой установлена кафедра. И вокруг самой кафедры тесно жались друг к другу студенты. Ключевский, как всегда, опоздал (он обычно, поздно начи-

ная и рано кончая, превращал двухчасовую лекцию в часовую). Потом прошел с трудом к своему месту и как бы в нерешительности оглянулся вокруг: везде – справа, слева и сзади – наседали на него, угрожая чуть ли не задавить, человеческие тела, а любопытствующие глаза пожирали на этот раз любимого профессора уже не с одной только стороны, а со всех сторон.

Между тем надо было вынимать текст лекции, разглаживать его на кафедре и читать... Ключевский помолчал с минутку и вдруг вместо обычного начала лекции отрывисто произнес:

– В такой обстановке я не могу читать!

Повернулся – и был таков.

Шум, волнение, импровизированный митинг. Решили во что бы то ни стало очистить пространство вокруг кафедры и особой делегацией известить об этом профессора, пригласив его начать лекцию в обстановке сравнительной нормальной. Тот, переменив гнев на милость, явился, и лекция прошла как обычно.

Почему-то мне кажется, что Ключевский и тут не хотел выдавать студентам своего секрета произнесения лекций по готовому тексту.

Это, конечно, мелочь – просто любопытная, как всякая мелочь о большом человеке. Значения лекций Ключевского то обстоятельство, что они читались по готовому тексту, несколько не уменьшает. Но *только у Ключевского* труд, по-

траченный на слушание (а не простое чтение дома) его лекций вполне вознаграждался особо высоким лекторским талантом, тогда как в других случаях этого не было.

Итак, Ключевский был замечательным явлением и один – собою – оправдывал университет.

Впрочем, если бы Ключевский читал свои лекции не в университете, а в любой другой московской аудитории или хотя бы даже, скажем, в зрительном зале Большого или Малого императорских театров, то впечатление и значение этих лекций остались бы те же. Университет, конечно, создал Ключевского как ученого, но блеск таланта, то, что создало славу Ключевского как профессора университета, принадлежал только ему самому. Смолкло живое, вдохновенное и вдохновляющее слово В. О. Ключевского в Богословской аудитории, – и что же осталось?!

К сожалению, не начал я (до своего выхода из университета) слушать лекции даровитого Павла Никитича Сакулина, тогда еще доцента, а в будущем профессора и академика, по истории новой русской литературы. Я даже не познакомился с ним за время моего пребывания в университете (хотя и слышал однажды его прекрасную, горячую речь о Толстом), а между тем к нему-то именно прежде всего мне и следовало бы притулиться. И предмет и его личность притягивали меня непосредственно больше, чем что-нибудь другое. Может быть, около него и под его руководством наладилась бы более счастливо и моя академическая жизнь и деятельность.

Но... к этому почему-то по какому-то недоразумению не дошло, – вроде того, как по такому же необъяснимому, роковому недоразумению не дошло к окончательному объяснению и союзу между любившими друг друга Варей и Лопахиным в «Вишневом саду» Чехова. Не то сакулинский курс по истории новой русской литературы не был своевременно объявлен, не то этот курс не входил в программу «группы L» и я не записался на него, – не помню.

Профессор (потом академик) М. К. Любавский читал один специальный курс по древней русской литературе, не слишком меня заинтересовавший. Профессор Д. М. Петрушевский скороговоркой выкладывал перед нами очень ученый и достаточно сухой курс по истории Средних веков, – поэтом и философом он, во всяком случае, не был, а история Средних веков требует, как мне тогда казалось, поэта и философа для успешного ее изложения. Вот Гоголь когда-то приступил к чтению истории Средневековья в том же Московском университете едва ли не правильно, но... у него не хватило выдержки спеца¹⁶.

Профессор Р. Ю. Виппер, считавшийся тогда знаменитостью, читал курс всеобщей истории. И в этом курсе наибольшим недостатком было именно то, за что Роберта Юльевича *тогда*, в пореволюционном 1906–1907 году, прославили знаменитостью: профессор смело выкинул из своего изложения лица, события, факты и оставил лишь социальные формулы и экономические понятия. Многим это нравилось. Мне

– нет. В самом деле, вовсе не надо отрицать важности материальной стороны жизни, значения классовой борьбы в политике или влияния той или иной фазы производственного процесса в истории, чтобы признать самостоятельное значение духовных исканий, значение личности и истории, значение внешних форм общественной жизни, глубину, красоту и внутренний смысл культуры в целом. Премудрый профессор не замечал даже того, что подход его к своему предмету был абсолютно *не научен* (уже оставляя совершенно в стороне вопрос о неудовлетворительности его метода в педагогическом отношении). В самом деле, ведь это было совершенно равносильно тому, как если бы ботаник, желая познакомить нас с растительным миром, стал бы показывать нам только корни растений, тщательно пряча от нас цветы и плоды. Наука о растениях, конечно, должна быть изучаема во всей широте и в полном объеме. Так же во всей широте и в полном объеме должна быть изучаема и преподаваема и историческая наука. Иначе, кроме неудобоваримой мертвечины, ничего получиться не может.

Читал Р. Ю. Виппер тоже, как и Ключевский, в Богословской аудитории. И было признаком «хорошего тона» того времени – ходить его слушать. Конечно, аудитория и на половину не бывала так полна, как при Ключевском, но все же порядочное количество студентов сидело, обыкновенно, и внимательно вслушивалось в тягучую, скучную, монотонную и однообразную речь профессора, что-то записывало,

запоминало. Я лично считаю эти часы для себя потерянными, тем более что даже настоящего курса *народного хозяйства* из лекций Р. Ю. Виппера не получилось: ведь он воображал, что читает всеобщую историю, а не политическую экономию, так что построение лекции и ее содержание не соответствовали одно другому.

Но – кто бы думал?! – оказывается, и для почтенного профессора (живо вспоминаю его маленькую, серую, кривоплечую фигуру, со скучающей, изможденной и пожелтевшей от кабинетных занятий бритой физиономией в пенсне) возможно было возрождение: находясь в эмиграции в одной из прибалтийских стран, сохранявших еще свою «независимость», Р. Ю. Виппер опубликовал *отречение от прежнего метода понимания и преподавания истории*. Согласно новому, резонному его убеждению, нельзя из истории выбрасывать лица, события и факты и обращать эту науку только в безымянную, одностороннюю и однобокую историю социальных отношений. И ведь это было понято и признано на склоне лет! Какое поражение для ученого и какая победа для человека!..

У профессора А. А. Грушки слушал я римскую литературу, вернее – латинский язык; у проф. С. И. Соболевского – греческую, точнее – греческий язык. Оба филологи, оба большие специалисты в своей области, они поражали познаниями в этой узкой области, никогда не покидая ее пределов и не заражая меня стремлением отдать свою жизнь прекрасным, но мертвым языкам.

На математическом факультете я как философ согласно программе «группы L» слушал лекции доцента (впоследствии профессора) А. К. Власова по высшей математике и – о, чудо чудное, диво дивное! – легко и просто их понимал. Должно быть, искусство университетского преподавателя-математика в изложении своей дисциплины стояло все-таки намного выше искусства наших гимназических преподавателей, которые ничего, кроме отвращения, внушить мне к математическим наукам не сумели. Купил я руководство немецкого автора по высшей математике, указанное мне доцентом Власовым, – та же самая история: понимаю все, да и только! Это почти испугало меня!..

Слишком долго на математике я, впрочем, не останавливался и, хотя с университетской поры к ней не возвращался, должен сознаться, что и скучать по ней не скучал.

Каждый представитель так называемой «научной» философии, даже если он только студент университета, должен быть энциклопедистом, маленьким Вундтом. Программа «группы L» предусматривала поэтому и слушание нами некоторых курсов на юридическом факультете. Иногда я бегал туда из любопытства, чтобы взглянуть на того или иного выдающегося профессора.

Из Киева перевели к нам в Москву юриста князя Евгения Николаевича Трубецкого. Евгений Трубецкой, профессор энциклопедии права, публицист и член «партии мирного обновления»¹⁷ – праволиберальной, интеллигентской

партии, о которой говорили, что все члены ее могут усесться на одном диване, – интересовал меня только как брат покойного философа и ректора Московского университета Сергея Николаевича Трубецкого. Евгений был юрист, не философ, и я не чувствовал в нем той искренности, а также того благородства и той глубины душевной, которые я, по праву или без права, вкладывал в воображении своем в характер Сергея Николаевича. Последний умер не больше чем за год до моего поступления в университет, и я всегда особенно жалел, что не застал его лично и что мне не суждено было прослушать его курса по истории древней философии.

Князь Е. Н. Трубецкой оказался важным, красивым и нарядным барином, посвятившим вступительную лекцию (на которой я присутствовал) в известной части памяти своего покойного брата. Это было понятно.

– Я иду за гробом своего покойного брата! – грассируя, говорил князь, желавший этим выразить, что он руководствуется «духовными заветами» популярного общественного деятеля и философа. (Ведь Сергей Николаевич, стоя во главе земской депутации¹⁸, пытался даже самого Николая II привести к уму-разуму, настаивая перед ним на необходимости привлечь представителей народа к управлению.) Метафора Евгения Николаевича насчет гроба тронула слушателей.

Но только через некоторое время опять послышалось торжественное: «...идя за гробом своего брата». И потом опять: «пойду за гробом своего брата!». Кажется, и в четвертый раз

«пошел» Евгений Николаевич «за гробом своего брата», и метафора, потеряв свою первоначальную свежесть и искренность, уже иначе, чем раньше, действовала на слушателей. Энциклопедист права вдруг представился некоторым – или по крайней мере одному из них – не философом, а краснобаем.

Е. Н. Трубецкой, человек, несомненно, высококультурный и значительно одаренный, но гораздо более консервативный, чем Сергей, кончил где-то в «белом движении»¹⁹. Говорил ли он и там тоже: «пойду за гробом своего брата»?

Однажды присутствовал я на лекции по гражданскому праву профессора Сергея Андреевича Муромцева, бывшего председателя 1-й Государственной думы, кого народная мечта при всполохе первой революции едва ли не намечала на пост президента Российской демократической республики. Когда Муромцев после политического краха «перводумцев» – участников Выборгского воззвания²⁰, лишившихся навсегда избирательных прав, остался не у дел, Московский университет предложил ему возобновить прерванное много лет тому назад чтение лекций. Предполагалось, и основательно, что вся молодежь ринется на лекции популярной во всероссийском масштабе личности, почему для лекций Муромцева и предоставлена была уже заслужившая репутацию общестуденческой Богословская аудитория историко-филологического факультета. Действительно, на первых лекциях Муромцева присутствовало множество студентов, но по-

том количество их начало редеть и редеть и, наконец, слушать Муромцева стали приходить только специалисты-юристы. Вот тогда-то и я позволил себе однажды заглянуть на его лекцию. Я плохо слушал, что говорил Муромцев, хотя говорил он ясно, четко и раздельно. Но я только смотрел во все глаза на одного из героев первой революции, припомнил себе отчеты о заседаниях первого русского парламента, о скандалах, устраивавшихся Пуришкевичем, и о мерах, принимавшихся против него достойным и умелым председателем, о бурных столкновениях Думы со Столыпиным и т. д. Конечно, передо мной был живой кусочек русской истории, и это трогало меня. Вся фигура красавца-старика в изящном черном сюртуке была воплощением профессорского или министерского *comme il faut*.

Наконец, упомяну о профессоре богословия протоиерее Елеонском. Бедный, милый старик! Он как раз читал в аудитории, которую следовало бы назвать *аудиторией Ключевского* и которая по недоразумению называлась Богословской. На лекции профессора-богослова собиралось не более 15–20 студентов. О. протоиерей старался взрослой, образованной и весьма смелой в скептицизме молодежи подавать *научнообразные* лекции с сообщениями об открытии современной археологией павших от трубного звука стен иерихонских и т. д., но успеха все же не имел: студенты либо потихоньку болтали между собой во время его чтения, либо читали книги и даже газеты, откровенно шурша газетными листами

и уходя в них с головой. Профессор все терпел безропотно и, как автомат, тянул далее свое чтение по пожелтевшей от времени тетрадке.

Богословская аудитория начинала наполняться только как раз к концу лекции по богословию: дело в том, что по странной иронии судьбы после проф. Елеонского читал как раз проф. Ключевский, и вот студенты забирались пораньше в аудиторию, чтобы занять места. Тут начиналось уже нечто неприличное и высокооскорбительное для лектора: студенты подымали невероятный галдеж, вольно ходили туда и сюда, здоровались, хохотали и т. д. А старичок Елеонский в своем подряснике все стоял на кафедре и, поднеся свою желтую тетрадку близко к слабым глазам, читал и читал...

Когда шум-прибой достигал в наполнившейся аудитории уже совершенно невозможных размеров, о. протоиерей подымал голову, протягивал правую руку с выпрямленной ладонью к публике и, кротко улыбаясь, произносил:

– Пожалуйста, потише! Я сейчас кончу!..

Шум немного утихал, но через минуту возобновлялся в прежнем и даже еще более усиленном размере. Профессор повторял свой жест, раз и два, все с тем же успехом. Наконец, кончив, свертывал трубочкой свою тетрадку, кланялся аудитории и уходил.

– Bravo, поп! Здорово, поп! – неслоь ему вдогонку, вместе с бурными рукоплесканиями.

В этот момент аудитория бывала уже наполнена до отказа.

Через несколько минут входил Ключевский и начинал свою лекцию: все внимали ему, как замороженные.

Спрашивается: нужно ли было для Церкви настаивать на включении богословия, да еще как обязательного предмета, в университетский курс? И было ли это на пользу Церкви или наоборот?

Экзамен по богословию считался для всех обязательным. Говорят, проф. Елеонский был при этом чрезвычайно снисходителен, требуя знания чуть ли только не оглавления своего коротенького курса.

Любил (о sancta simplicitas!²⁰), чтобы его называли «отец профессор» или уже, по крайней мере, «отец протоиерей». Если же кто-нибудь из студентов, притворяясь смиренной, православной овечкой, обращался к своему пастырю, называя его «батюшка», то о. Елеонский быстро парировал:

– Не имел счастья быть знакомым с вашей матушкой!..

Всякие чудачки бывали на свете, даже и на университетских кафедрах!..

Образ добродушного, хотя и пережившего свое время профессора богословия был бы, однако, не полон, если бы я не рассказал об одной детали из его прошлого.

В яснополянской библиотеке я нашел через семь-восемь лет одну брошюру священника Николая Елеонского, в то время профессора Петровской земледельческой академии, под заглавием «О «Новом Евангелии» графа Толстого»,

²⁰ Святая простота (лат.).

Москва, 1889. Обложка этой брошюры украшена следующей «неблагословенной» авторской надписью:

«Несчастному маньяку – Толстому».

Оказалось, попик-то в зрелые годы был воинствующим и даже, мягко выражаясь, довольно развязным клерикалом!..

Я очень жалею, что в студенческие годы мне не попала в руки замечательная статья Д. И. Писарева «Наша университетская наука» (1863), которую я прочел гораздо позже и в которой нашел столько общего с моими собственными студенческими переживаниями! Креозотовых и Телицыных²¹ на кафедрах можно было узнать еще и в мое время... Знай я тогда писаревскую статью, процесс внутреннего расхождения моего с университетом не был бы так мучителен и проходил бы гораздо легче. Опираясь на опыт и моральный пример блестящего русского публициста, я не чувствовал бы себя одиноким. Ближайший мой друг Анатолий Александров на этот раз не мог быть для меня опорой. Правда, он тоже разошелся с университетом, но расхождение это не имело принципиального характера. Он просто не собирался проходить университетского курса, какой бы он ни был. С самого окончания гимназии Толю тянуло в другую высшую школу, школу по особо дорогой для него специальности – специальности музыкальной. Лишь уступая настояниям родителей, которые, подобно многим наивным и самоуверенным представителям буржуазной интеллигенции, убеждены были, что тот, кто не имеет университетского диплома, не чело-

век, поступил Толя в университет (философию он мог изучить и без него). Результат был тот, что, потеряв «даром» или *почти* даром несколько лет и отказавшись, как и я, от экзаменов, он перешел затем туда, куда влекло его призвание, то есть в консерваторию, которую скоро и окончил по двум специальностям, как теоретик и пианист, — окончил блестяще, с малой золотой медалью: имя его теперь красуется рядом с именами Скрябина, Рахманинова и других выдающихся музыкантов на мраморной доске в вестибюле малого зала консерватории на улице Герцена.

Я вообще студентом прошел мимо тех русских философов, которых уж никак нельзя упрекнуть в схоластичности или «оторванности от жизни». Но, к сожалению, университетские преподаватели соловьевско-лопатинской школы отнюдь не торопились знакомить нас с Писаревым, Добролюбовым, Чернышевским, и отрицательные результаты такой односторонности и полного или почти полного незнания с оригинальными нашими философами-реалистами и материалистами я потом ощущал едва ли не в течение всей своей жизни.

Академическая жизнь 1906–1907 годов была беспокойная. Революционные элементы продолжали действовать. Студенческие сходки, созывавшиеся для решения академических вопросов, постоянно усилиями студентов-революционеров превращаемы были в политические. Помню, как одну такую сходку, в большой аудитории юридического факульте-

та, успокаивал и заговаривал ректор университета А. А. Мануйлов, будущий министр народного просвещения Временного правительства. Речь его, простая, деловитая, серьезная, мне понравилась. Имела она кое-какой успех и у разбушевавшегося студенчества.

Когда 20 февраля 1907 года открывалась Государственная дума второго созыва, революционными товарищами подсказано было студентам и принято ими решение отправиться всей массой в Петербург, чтобы «приветствовать народных избранников». Предлагались особо льготные условия проезда, так что и мы с Толей Александровым решили воспользоваться случаем и отправиться взглянуть на Северную Пальмиру, а кстати, присутствовать и при историческом акте: открытии обновленного и притом весьма полевевшего русского парламента.

В назначенный день сотни студентов собрались на Николаевском вокзале, заполнив все его помещения. Были среди них и мы с моим другом. Обещанный особый поезд, однако, в срок подан не был. Зачинщики дела принялись хлопотать о подаче его хотя бы с опозданием – хлопотать через железнодорожное начальство, через ректора университета, через московского градоначальника и даже, кажется, по телеграфу, через министров путей сообщения и внутренних дел, а мы, «масса», все ждали на вокзале. Наконец, поздней ночью пришел окончательный отказ, и все студенты, пошумев еще немного, должны были разойтись и разъехаться по домам.

Кажется, именно непосредственным продолжением этого инцидента были демонстративный отказ студентов записываться на лекции в начале вновь наступающего полугодия и поголовное исключение всех не записавшихся из университета. К числу их принадлежали и мы с Анатолием Александровым. Так, «бывшими студентами», провели мы свои первые летние каникулы, Толя – в Москве, я – в Томске. Когда настала осень 1907 года, стало известно, что начальство не настаивает на серьезных репрессиях против «бунтовщиков»-студентов и что те из них, кто подаст прошение об обратном приеме в университет, будут снова приняты, а все «пройденное» будет им «зачислено». Разумеется, все молодые люди подали прошения, подали и мы с Александровым – и так снова стали студентами.

Так затрагивали и затягивали и нас революционные волнения, хотя, по существу, и я, и мой друг были далеки от политики и смотрели на университет только как на школу, а не как на революционную арену. Необходимое для занятий настроение подтачивалось и с этой стороны.

В результате ослабления связи с университетом Толя усиленно занялся музыкой, став учеником (по гармонии и контрапункту) знаменитого композитора С. И. Танеева (преподававшего бесплатно, но лишь талантливым ученикам), а я отдался культурно-общественной жизни, связавшись с некоторыми студенческими, а также вне университета стоящими кружками и организациями.

Из них надо прежде всего упомянуть Сибирское землячество, – очень симпатичную организацию, объединявшую понаехавшее из Сибири студенчество всех высших учебных заведений Москвы, то есть не только студентов университета, но также студентов Высшего технического училища, Петровско-Разумовской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии, Межевого и Ветеринарного институтов, Высших женских курсов и пр. Числом преобладали, однако, студенты университета. Поэтому и собиралось землячество либо в университете, в какой-либо из свободных аудиторий, либо на нейтральной почве, а именно в помещении Общества вспомоществования недостаточным студентам-сибирякам на Малой Бронной улице.

Любовь к далекой, прекрасной родине объединяла в Сибирском землячестве студентов разных политических течений. «Эсэры» (социалисты-революционеры) и «эсдеки» (социал-демократы обеих уже наметившихся ветвей – большевицкой и меньшевицкой) сходились и работали дружески в рамках землячества. Землячество устраивало лекции, концерты, веселые вечеринки, все, так или иначе, в связи с идеей преданности Сибири и ее культурным, политическим и хозяйственным интересам. Студенты и курсистки – томичи, иркутяне, красноярцы и даже забайкальцы – находили какое-то особое удовольствие во взаимных встречах и общении «на чужбине», денежный же сбор со всех предприятий поступал в пользу недостаточных товарищей.

Помнится, в первый же год моего пребывания в Москве (и не позже, чем во второй) я был избран сначала секретарем, а потом председателем Сибирского землячества. Кандидатура моя в председатели была *беспартийной*, долженствовавшей гарантировать одинаково взаимно ревнивых «эсдеков» и «эсеров» от «захвата власти» в организации их политическими противниками. В состав правления вошли, конечно, представители обеих группировок. «Правых» в то время в университете не было, или они не проявляли себя. И даже «кадеты» («конституционалисты-демократы») были явлением чрезвычайно редким.

Я охотно отдавал Сибирскому землячеству силы и время, и жизнь его протекала, в общем, успешно, весело и оживленно. В памяти мелькают благотворительные балы, вечеринки... библиографический кружок... издание открыток с портретами сибирских писателей. лица студентов и студентов, являвшихся в мою скромную студенческую комнату за получением пособий и уходивших радостными, ожившими с 10–15 рублями в кармане.

Стоит сказать хоть два слова о библиографическом кружке при Сибирском землячестве и о его руководителе. Руководителем и вдохновителем кружка был студент-медик Иннокентий Александрович Богашев, отличившийся тем, что он еще в студенческие годы выпустил книгу о минеральных источниках Забайкалья. Иннокентий Александрович сильно засиделся в университете, и притом засиделся добровольно:

ему просто нравилось быть студентом, толкаться в университетских коридорах, участвовать в заседаниях Сибирского землячества, навещать и принимать у себя живую, веселую студенческую молодежь обоих полов. Нужды он не знал, так как получал от какого-то богатого сибирского родственника или от его наследников постоянную, скромную, но вполне достаточную для безбедного проживания пенсию. Чуть ли даже именно эта пенсия и не была обусловлена тем, что выдаваться она должна была Богашеву лишь *до окончания им университета*, – он и не торопился его кончать. Богашеву в год моего приезда в Москву было уже за 30, но мать-старушка, с которой он жил в гостинице «Петергоф», на углу Моховой и Воздвиженки, все еще смотрела на своего Кешу как на мальчика.

Именно И. А. Богашеву и принадлежала идея о продолжении соединенными силами любящих свою родину сибиряков-студентов монументального труда В. И. Межова «Сибирская библиография». Библиография эта, то есть перечень всех книг и статей о Сибири, доведена была до 1892 года, – молодежь должна была, заполняя особые карточки, доставлять в библиографический кружок, то есть И. А. Богашеву в гостиницу «Петергоф», сведения о книгах и статьях, опубликованных после этого года. В члены и сотрудники кружка Богашев привлек и меня, и я, по силе возможности, старался пополнять его ящичек-картотеку сведениями о не зафиксированной Межовым литературе о Сибири.

Тихий, мягкий и вкрадчивый, в очках, только с усами и с бритым подбородком переросток-студент ласково, с застывшей у него на губах любезной, или вернее сказать, радушной (более приличествующей сибиряку!) улыбкой, встречал своих юных товарищей, радовался каждой принесенной и заполненной ими библиографической карточке как новорожденному младенцу, усаживал за чай с ломтями французской булки, а мамаша его ворковала старой пестуньей, расхаживая по нескончаемой дорожке между чайным столом и шкапчиком с посудой и припасами.

Время шло. Старушка Богашева переселилась в лучший мир. Иннокентий Александрович наконец-то окончил университет и стал врачом, но не практикующим, а больше все теоретизирующим: на знакомую тему о минеральных источниках и на другие, столь же мирного характера, темы. Несмотря на свой робкий, женственный характер, он решился, наконец, даже на такой отчаянный шаг, как женитьба. И взял жену очень милую, бойкую и энергичную...

Библиографических карточек, между тем, накопилось несколько сот. Наверное, доктор И. А. Богашев хранил их очень долго, не переставая лелеять так и не осуществившуюся мечту об издании дополнения к библиографии Межова. Он, кажется, до конца остался все тем же, каким был в студенческие годы: мягким, расплывчатым, не определившимся, не скристаллизовавшимся, почувствовавшим себя, как Обломов в халате, в пришедшейся так славно по его

плечам тужурке «вечного студента», российским интеллигентом-крохобором. И даже когда сама Россия в некотором роде «перестала быть», И. А. Богашев оставался тем же немного слащавым, озабоченным всякими «библиографиями», добропорядочным, но малопродуктивным кабинетным деятелем. По крайней мере, таким он мне показался, когда я встретил его, уже значительно постаревшего, в 1922 году в Крыму, в свите народного комиссара здравоохранения Н. А. Семашко. Он с почтительным умилением произносил имя-отчество своего наркома, но даже и при наличии столь серьезного знакомства никакой особенной научной или служебной карьеры сделать не сумел.

В новой для меня, «чужой» Москве уютная студенческая квартирка сибиряка-патриота И. А. Богашева и его матери-старушки была, однако, очень приятным уголком и местом ценных встреч с симпатичными товарищами-земляками. Кстати сказать, будущий профессор-психолог и вице-президент Академии педагогических наук К. Н. Корнилов был также завсегдатаем номера Богашевых в гостинице «Петергоф».

Среди бесчисленных студенческих кружков, существовавших при университете и безвозбранно развивавших свою деятельность на основании нового устава, имелось также Общество любителей искусств и изящной литературы. Я было записался в его члены и посетил одно-два собрания, но потом отошел от него. В обществе этом было как-то холодно и

неуютно. Там царствовала атмосфера слишком академичная и немного снобистская. Главным заправилой всех дел был А. М. Эфрос, писавший позже, под псевдонимом Росций, по вопросам искусства в «Русских ведомостях», после революции сотрудничавший в разных советских изданиях и, наконец, изобличенный в качестве формалиста-космополита. В студенческие годы он отличался претенциозным костюмом – черной бархатной блузой – и значительной долей высокомерия. Сойтись с ним молодому студенту «дружески», как с Богашевым, было бы невозможно, а поступать к нему в почерные выученики мне не хотелось.

Из деятелей Общества любителей искусств и изящной литературы помню еще Н. Н. Русова, философа-анархиста, ставшего впоследствии романистом. Со своим анархизмом мистического толка это был, в личном общении, довольно вялый и почти всегда какой-то сонный и инертный, малоинтересный, хотя и любезный, собеседник. Студентом он был, кажется, фиктивным. Ни в каких занятиях не участвовал и показывался в университете только для прочтения в том или ином кружке очередного доклада на философскую или литературно-общественную тему.

Я уже имел случай упомянуть о том, что приехал в Москву, снабженный рекомендательным письмом от Г. Н. Потанина к профессору В. Ф. Миллеру, занимавшему в 1906 году пост директора Лазаревского института восточных языков. Всеволод Федорович, статский «генерал» с головы до

ног, принял меня с важной и любезной снисходительностью в роскошном кабинете своей квартиры при институте, в Лазаревском переулке, и предложил мне, как молодому этнографу, посещать закрытые учебные заседания председательствуемого им Этнографического отдела при Императорском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии, каковое предложение и было принято мной. Собрания Этнографического отдела под председательством В. Ф. Миллера происходили в одном из небольших залов, если не ошибаюсь – в зале заседаний правления Политехнического музея на Лубянском проезде. Этнографы собирались в числе 15–20 человек и чинно «заседали» вокруг овального, покрытого зеленым сукном стола. Всеволод Федорович предложил мне сделать на одном из заседаний сообщение о собранном мною в Сибири песенном материале, но я убоился перспективы выступления перед ученым синклитом и отказался, откровенно сославшись на свою научную неподготовленность. Тогда В. Ф. Миллер сам сделал доклад о записанных мною в Сибири народных (между прочим, старинных свадебных) песнях, и в руках такого мастера скромный материал мой, конечно, оказался достаточным основанием для интересного, прямо-таки блестящего сообщения. С особенным удовольствием отметил маститый ученый, что среди записанных мною в Сибири, именно в селе Коураке Кузнецового уезда Томской губернии, песен оказалась народная переделка сделанного его отцом, поэтом-переводчиком Федором

Миллером русского перевода стихотворения одного из популярных немецких поэтов, – забыл, какого именно²². Песня эта начиналась так:

Во тех лесах дремучих
Разбойнички идут,
На плечах своих могучих
Товарища несут.

Были и другие интересные открытия и замечания В. Ф. Миллера по поводу собранного мною песенного материала.

По просьбе секретаря Этнографического отдела В. В. Богданова я принял на себя библиографическую работу для издававшегося отделом журнала «Этнографическое обозрение»: просматривал кипу получавшихся отделом газет и составлял перечень всех появлявшихся в них материалов по этнографии. Перечни эти печатались в библиографическом отделе журнала.

Как раз в 1906 или 1907 году В. Ф. Миллер праздновал юбилей своей, если не ошибаюсь, 40-летней научной деятельности. По этому поводу Этнографическим отделом устроены были торжественное собрание в большом зале Политехнического музея и обед в фешенебельном ресторане «Эрмитаж». Между прочим, члены отдела по окончании одного из очередных заседаний и, конечно, в отсутствие юбиляра, долго совещались о том, в каком именно ресторане

устроить обед. При этом с большим презрением упоминалось о другом ученом обществе, устроившем свой юбилейный банкет не в первоклассном «Эрмитаже», а во второй-классной «Праге».

Я тоже получил приглашение принять участие и в собрании, и в обеде. От обеда, как акта более интимного, предполагающего большую близость с юбиляром, я из скромности отказался. Собрание же посетил и впервые ознакомился с тем, как устраиваются юбилеи. Множество научных обществ и корпораций прислало своих представителей на собрание для прочтения приветственных адресов и произнесения речей. Помню председательницу Археологического общества, «археологическую графиню», как ее называли в Москве, гр. П. С. Уварову, вдову заслуженного археолога гр. А. С. Уварова, представительную, высокую и стройную еще старушку в простом, но отлично сшитом сером платье, ректора Московского университета А. А. Мануйлова, председателя Антропологического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, маленького человека с красным носиком и с седенькой бородкой клинышком, проф. Д. Н. Анучина и других лиц. Поразило меня присутствие делегации от кавказских горцев: осетин и, кажется, мингрельцев.

Все прославляли Всеволода Федоровича на чем свет стоит, а он, принимая похвалы и превознесения с таким видом, который говорил, что он иного ничего и не ожидал, старал-

ся, в свою очередь, сказать что-нибудь лестное и остроумное каждому из хвалителей-поздравителей. И «археологической графине», и Анучину, и осетинам... Кстати, последние в своем адресе заявили, что Миллер своими исследованиями в области осетинского фольклора *открыл Осетию самим осетинам*. Все это, и преувеличенные оценки работ и значения юбиляра, и обязательные льстивые его ответы, вместе с подготовительной стадией юбилея, разговорами об обеде и т. д., произвело на меня, признаться, немного неожиданное, более или менее комическое и отчасти даже отталкивающее впечатление. Юбилей пробил новую брешь в моем прежде цельном и бесконечно уважительном отношении к науке, ученым и ученому цеху.

Глава 3

Музыкальные и театральные впечатления в Москве

Скрипач Исаи. – Пение Л. Собинова. – Поэт Андрей Белый и «Дом песни». – Композитор Цезарь Кюи. – Обучение пению у проф. Гилева. – Как П. И. Чайковский сочинил заключительную фразу Онегина в опере «Евгений Онегин». – Ю. Н. Вишневецкая как личность и как преподавательница пения. – Встреча с будущим председателем Всерабиса. – Об оздоравливающем психологическом воздействии русской песни. – Актер Н. Н. Вишневецкий. – Художественный театр – храм искусства. – Плюсы и минусы императорских Большого и Малого театров. – Другие московские театры. – «Я помню чудное мгновенье...»

По приезде в Москву Анна Яковлевна Александрова-Левенсон, питомица Московской консерватории, ученица Клиндворта и Чайковского, в детстве удостоившаяся играть Антону Рубинштейну, а позже хорошо знавшая и, как все консерваторки, обожавшая его брата Николая, первого директора консерватории, возобновила свои музыкальные знакомства.

– Да где же ваша пышная шевелюра, где ваша львиная гри-

ва?! – восклицала она при встрече со знаменитым виолончелистом Брандуковым, обратившимся за 20 лет отсутствия Анны Яковлевны в Москве из молодого сравнительно красавца в корректного старичка с коротко остриженными волосами и седенькой эспаньолкой.

Бывшему директору консерватории, известному композитору и автору ученой работы о контрапункте С. И. Танееву, холостяку, жившему со старой нянюшкой²³ в крохотном флигельке где-то в переулке между Арбатом и Пречистенкой, представила своего сына.

Новому директору консерватории, композитору М. М. Ипполитову-Иванову, с гордостью предъявила собрание программ концертов Томского отделения И.РМ.О. (Императорского русского музыкального общества), прошедших с ее участием.

– А-а, это любопытно! – сказал ей между прочим композитор. – А я было подумал, когда вы вынули эти бумаги из ридикюля, что вы хотите удивить меня отзывами местной прессы о вашей игре... Программы, конечно, интереснее!

Немного наивная и экспансивная Анна Яковлевна мечтала о возобновлении музыкальной и музыкально-педагогической деятельности в Москве и о приеме ее в число преподавателей консерватории. Но мечты ее по разным причинам не сбылись. Старые знакомые приняли ее любезно, но не более того. Данные обещания исполнены не были. И только С. И. Танеев принял Толю в ученики; да администрация консер-

ватории предоставила А. Я. Александровой четыре контрамарки — для нее, двоих ее детей, а кстати уж и для меня — на генеральные репетиции симфонических концертов консерватории. Такие же контрамарки получила А. Я. Александрова также на знаменитые музыкальные утра Кружка любителей русской музыки или, как они назывались в Москве, «Керзинские концерты»: учредители и руководители кружка супруги Керзины были также старыми знакомыми Анны Яковлевны.

Для меня, Толи и Лели контрамарки в консерваторию и в кружок явились, конечно, кладом. В Томске мы слушали больше камерную музыку. Симфонические концерты по техническим условиям там были редкостью. Теперь, в большом зале консерватории на Большой Никитской, мы могли наслаждаться симфоническим репертуаром в исполнении прекрасного оркестра под управлением отличных дирижеров и при участии выдающихся солистов, русских и иностранных. Керзинские же концерты, происходившие по воскресеньям в единственном по красоте своей колонном зале Благородного собрания (нынешнего Дома Союзов), хотя и не имели характера симфонических и составлялись преимущественно из вокальных номеров, ценны были тем, что *только в них*, в виде исключения, разрешалось участие артистам Императорской оперы, так что тут можно было услышать почти всех наиболее выдающихся московских певцов и певиц.

На одной из генеральных репетиций в консерватории я

удостоился однажды услышать знаменитого бельгийского скрипача Исаи. Игра его произвела на меня огромное впечатление. Уже не помню, что именно исполнял Исаи, этот урод по внешности, со свороченной на сторону нижней частью исключительно некрасивого лица, но предельно чистый, какой-то отвлеченно-бесплотный, надмирный тон его скрипки звучит и посейчас в моих ушах как убедительный, живой голос из какого-то другого, идеального, прекрасного мира.

На Керзинских концертах я неоднократно слышал сладкозвучного и на редкость культурного певца, знаменитого тенора Л. В. Собинова, стоявшего тогда в зените своей славы.

У него из груди вырывалось однажды так захватывающе-обаятельно, так убедительно и вдохновенно, — это:

...Печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой! —

что одна эта музыкальная фраза из романса Римско-го-Корсакова на бессмертные пушкинские слова не забудется до гроба. И, наоборот, услышав Собинова (на одном сборном спектакле) в Большом театре, в сцене дуэли из «Евгения Онегина», я не вынес того же обаятельного впечатления, хотя народная молва и считала певца лучшим Ленским: мне показалось, что знаменитую арию «Куда, куда вы удалились» артист излишне растягивает и услащает. Он ее «запел». Вол-

шебное «чуть-чуть», делающее искусство, не было соблюдено, и эффект прекрасного в общем исполнении пропал.

Много и других замечательных московских артистов слышал я на Керзинских концертах, пользовавшихся исключительным успехом у московской публики. На концерте, посвященном произведениям Кюи, видел я и самого композитора, младшего члена знаменитой в истории русской музыки «могучей кучки»: длиннобородый, скромный, с впалой грудью старичок в очках и в длиннополом генеральском мундире, Цезарь Антонович сидел в середине первого ряда на этом концерте и, подымаясь с своего места, оборачивался назад и раскланивался на приветствия публики.

Однажды посетили мы с Толей Александровым концерт московского «Дома песни»²⁴, эфемерного кружка, затеянного, кажется, главным образом поэтом Андреем Белым и сложившегося во имя и вокруг своего солнца, а в то же время и единственного светила: певицы М. А. Олениной д'Альгейм. Эту концертную певицу с небольшим голосом, но с большой выразительностью исполнения провозглашали гением и по силе ее искусства сравнивали — неосновательно, по-моему, — с Шаляпиным. «Женщина-Шаляпин» и «Шаляпин в юбке» — это были ее вульгарные прозвания в московской интеллигентской толпе. Одна-две газеты и один-два вольных литератора, вроде Андрея Белого, делали певице бешеную рекламу.

В концерте, который я слышал в Малом зале консерватории, Оленина д'Альгейм (французскую приставку к сво-

ей фамилии получившая от мужа – французского композитора) пела в первом отделении цикл романсов Шумана *Dichterliebe*²¹ на слова Гейне, – разумеется на немецком языке, а во втором – старинные романсы Глинки и других русских композиторов. Особенность ее исполнения, ей одной («о, гениальная!») свойственная, состояла в том, что пение свое она сопровождала сильной жестикуляцией и движениями всего тела, – разумеется, в духе и в ритме исполняемого. Одета в белое платье, с широким и длинным белым шарфом на шее, она придерживала обеими руками концы этого шарфа и то заворачивалась в него, то раскрывалась снова, то простирала руки вперед, то подымала их кверху, то подходя при этом к самому краю эстрады, то отступая снова назад. Вероятно, «гениальной» была и ее мимика, но, сидя на балконе и обходясь тогда еще без очков, я не мог за ней следить. С вокальной же стороны это было, как мне показалось, просто хорошее, одушевленное, выразительное исполнение образованной и одаренной большим вкусом певицы с небольшим голосом. Тембр этого голоса никакой особенной красотой не отличался. Можно было оставаться искренно благодарными певице и не производя ее в «гении».

Шаляпина в студенческие годы мне не удалось слышать: чересчур был дорог и через слишком большие мытарства (до дежурства в течение целой ночи у кассы Большого театра включительно) надо было пройти, чтобы получить дешевый

²¹ «Любовь поэта» (нем.).

билет на Шляпина. Но когда я впервые услышал его, уже после Октябрьской революции, со сцены петербургского Мариинского театра, в роли мельника в «Русалке» Даргомыжского, я был так же, без отказа, захвачен, покорен и ошеломлен его искусством, как «Федором Иоанновичем» при первом посещении Художественного театра или как исполнением Михаилом Чеховым роли Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя при одном из позднейших (уже не в студенческие годы) посещений того же театра. *Тут передо мною был гений*, потому что... высшего и могущественнейшего по воздействию на зрителя и слушателя ничего уже нельзя было себе представить. Слушая и наблюдая довольно-таки нарочитую и манерную Оленину д'Альгейм, я непосредственно подобного присутствия гения не ощущал.

Вдохновитель «Дома песни» Андрей Белый во время исполнения сидел, скромно потупясь и глубокомысленно подперев рукой подбородок, в первом ряду зала. Перед началом исполнения он с эстрады прочел вступительное слово о задачах «Дома песни». Это были обычные мистически-декадентские, трудно воспринимаемые и понимаемые, прихотливые мыслительно-словесные узоры в духе Андрея Белого – литератора и антропософа. Декадентская часть публики, конечно, млела, слушая своего вождя.

Мне пришлось в голову обратиться к знаменитому поэту с просьбой об автографе, что я и осуществил по окончании концерта. Андрей Белый в это время спускался среди про-

стых смертных, но не как простой смертный, с лестницы. Он не мог не видеть и не чувствовать обращенных на него со всех сторон взглядов и, в своем черном сюртуке, с редкими, но длинными светло-русыми волосами и. уже заметной лысинкой на макушке головы, шел, как-то особенно бережно и деликатно переставляя ноги со ступеньки на ступеньку, как бы в сознании всей драгоценности той ноши, которую они несли. При этом и руки его были как-то неестественно, «грациозно» напряжены, пальцы двигались, а на устах змеилась скромная и в то же время полная снисходительности ко всем окружающим улыбка. «Великий человек» (говорят, в Белого очень верила его мать, сопровождавшая его в тот вечер) как бы любезно позволял публике воспользоваться редким, драгоценным моментом и полюбоваться на живого «гения».

– Что же я должен вам написать? – прозвучал сладкий голос.

– Хотя бы ваше имя.

– Хорошо, я сделаю это, когда мы спустимся в раздевальню.

– Благодарю вас.

В раздевальне так же осторожно, деликатно, под обращенными на него со всех сторон взглядами сгрудившейся вокруг публики, Андрей Белый подписал на программе вечера свое имя и, деликатно мне поклонившись, стал надевать шубу... «Великий человек!»

Буду ли уверять читателя, что все это пишу, сохраняя пол-

ное уважение к талантливому, ныне уже почившему поэту, беллетристу, теоретику литературы и духовному искателю!

Из только что сказанного ясно, что музыкальное образование мое, начатое в Томске, при участии и под покровительством семьи Александровых продолжалось и в Москве. А. Я. Александрова устроила мне даже бесплатные уроки пения у своего бывшего товарища по обучению в консерватории, профессора Московского филармонического училища Гилева. Гилев был в то время человеком лет 50, худым, с седой козлиной бородкой и с добрыми, темными, сиявшими как две сладкие вишни, глазами. И кто бы мог подумать, глядя на старичка, что в прошлом это был оперный артист, прекрасный баритон и *первый по времени исполнитель партии Евгения Онегина* в одноименной опере Чайковского!

Это был консерваторский спектакль в Москве, состоявшийся 17 марта 1879 года на сцене Малого театра. «Евгений Онегин» шел впервые, под управлением Н. Г. Рубинштейна. Исполнителями являлись исключительно кончавшие консерваторию певцы и певицы. Татьяну пела М. Н. Климентова, позднее – Муромцева, жена проф. С. А. Муромцева, председателя 1-й Государственной думы. Ленского пел тенор Медведев, Онегина – мой будущий учитель Гилев. Как известно, спектакль прошел превосходно, и новая опера имела огромный успех.

...Гилев рассказывал мне, как, еще задолго до представления оперы, П. И. Чайковский, бывший профессором кон-

серватории, позвал его однажды в комнату, где он, уединившись, сидел у рояля, и попросил пропеть только одну фразу. Гилев не знал, откуда эта фраза. А фраза была такая:

«Позор, тоска! О, жалкий жребий мой!..»

На звук *e* в слове *жребий* приходилось второе *sol*, нота, в сущности теноровая, а не баритонального регистра.

Юный баритон с высоким, чистым голосом, однако, без труда одолел всю указанную композитором музыкальную фразу, и в том числе высокое *sol*.

– Ага! Ну, значит, это может остаться! – сказал композитор. – А то я боялся, что это будет слишком высоко для баритона. Благодарю вас!

Профессор пожал руку ученику, и они расстались.

– А с той поры, – говорил мне уже поседелый Гилев, – все баритоны давятся этим *sol* в последней заключительной сцене Онегина!..

Занимался я у Гилева недолго. Одна размолвка с А. Я. Александровой-Левенсон (позже ликвидированная) побудила меня оставить очень хорошо было наладившиеся уроки пения у Гилева: мне как-то не по себе было чувствовать себя обязанным Анне Яковлевне, занимаясь у Гилева, и в то же время считаться «в разрыве» с ней. Не будь я столь щепетилен, может быть, я и овладел бы до конца вокальной школой, а не остался беспомощным любителем, хотя и при наличии

голоса.

Скажу кстати, что на второй или на третий год своего пребывания в университете я начал брать уроки пения у новой преподавательницы, Юлии Николаевны Вишневецкой, особы чрезвычайно оригинальной и интересной, о которой стоит здесь рассказать.

Юлия Николаевна была дочерью заслуженного генерала Н. С. Ганецкого, – не генерала Ивана Степановича Ганецкого, воевавшего с турками в 1877–1878 годах, а его брата, Николая Степановича, которому доверена была в ту же эпоху подготовка войск для отправки на фронт. Портрет отца с цепью ордена Св. Андрея Первозванного на груди красовался в маленькой гостиной небольшой квартиры Ю. Н. Вишневецкой на Садовой улице. С детства Юлия Николаевна была «мальчишкообразна», полна энергии, предприимчивости и – ненависти ко всякого рода светским церемониям и обычаям. Любя музыку и обладая красивым меццо-сопрано, Юлия Николаевна мечтала сделаться оперной артисткой. Серьезно подготовившись, дебютировала *тайно от отца*, слышать не хотевшего об ее сценическом призвании, на сцене Мариинского театра в Петербурге, в роли Вани в опере «Жизнь за царя». Дебютировала с успехом. Прием ее на императорскую сцену был обеспечен. Однако случилось так, что на спектакле-дебюте присутствовал один из великих князей. Новая артистка обратила на себя его внимание. Он справился в дирекции театров о том, кто она такая, и затем, при личной

встрече с ген. Н. С. Ганецким, *поздравил того с успехом его дочери на сцене*. Генерал Ганецкий был очень обескуражен неожиданным открытием и через того же великого князя добился категорического запрещения конторе императорских театров принимать Ю. Н. Ганецкую на сцену. Так Юлия Николаевна лишилась ангажементов на государственной сцене. Она пела после того в провинции, много концертировала, а затем занялась преподаванием пения. Фамилию свою переменила, выйдя замуж за инженера Вишневецкого.

Юлия Николаевна была особенной поклонницей русской музыки: Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков были ее любимыми композиторами. Когда я познакомился с Юлией Николаевной, ей было уже далеко за 50, и она мало пела сама, но *показывала* своим ученикам, как надо петь, с редкой выразительностью. По наружности это была маленькая, толстая, как кубышка, седая женщина с круглой головой, некрасивая, немного резкая в своих движениях, но с приятной учтивой улыбкой, а главное, полная молодого огня и задора. Жила только искусством, успехами своих учеников и учениц. Вся была очень русская. И школу пения свою называла *русской школой*. Над этой школой многие в Москве подсмеивались. Дело в том, что учеников своих Юлия Николаевна заставляла петь, широко раздвигая губы, улыбаясь: она верила, что звук голоса приобретает благодаря этому особую вольность, силу и красоту, что таким образом обеспечивается ясная дикция, что так поет простой русский

народ, что вокальные произведения русских композиторов требуют именно такого рода школы пения и что, наконец, именно так, сознательно или бессознательно, поет большинство лучших оперных русских артистов: Собинов, Пирогов и другие. И, однако, эта *вынужденная улыбка*, особенно – пока она еще не обратилась в естественную у учеников и учениц начинающих, кидалась слушателям в глаза и давала повод подсмеиваться над «системой Вишневецкой».

Система в конечном счете оправдывала себя. Все, кто приходил к Юлии Николаевне учиться, быстро сознавали, что развитие их голоса и умения прогрессирует. Имена артистки императорских театров Н. И. Забелы-Врубель, жены знаменитого художника Врубеля и ученицы Ю. Н. Вишневецкой, и известного оперного и концертного певца баса А. И. Мозжухина (брата кинематографического артиста), также ее ученика, свидетельствовали о талантливости Юлии Николаевны как педагога. С А. И. Мозжухиным я встретился около 1930 года в Праге. Он подтвердил мне, что учился пению у Ю. Н. Вишневецкой и *только у нее*, что он всем ей обязан и не перестает вспоминать о своей учительнице с величайшей признательностью.

Вишневецкая особенно любила хоровое пение и была до самых преклонных лет отличным дирижером хора, составленного из ее учеников-солистов. Именно такой старушкой-толстухой и коротышкой, с седой круглой головой, в строгом черном платье, выходила она, бывало, на ту или

иную концертную эстраду в Москве и, уверенно размахивая палочкой, дирижировала трудными оперными хорами: хор пел в высшей степени согласованно, звучно, со всеми необходимыми нюансами... Помню, я участвовал в таком концерте в уничтоженной позже аудитории Российского Исторического музея на Красной площади: как солист, исполнил арию из «Садко» и романс Римского-Корсакова, а как член хора, между прочим, запевал чудесный мужской хор из «Града Китежа» «Поднялася с полуночи».

Вишневецкая давала не только отдельные, но и *групповые* уроки пения, предоставляя тем возможность учиться у нее студенческой бедноте. Именно такими групповыми уроками пользовался и я. Впрочем, с некоторыми из учеников групп, в том числе и со мной, Юлия Николаевна занималась и отдельно. Все ученики и ученицы были чрезвычайно привязаны к старушке-певице, любили и почитали ее. И она смотрела на них, как на членов одной семьи. Своего рода «любимым сынком» Юлии Николаевны был студент-медик (позднее – врач), тенор Вячеслав Петров. Голосок его был слабенький, жиденький, но искусство – порядочное: Юлия Николаевна передала ему все, что могла, и все это было усвоено им в превосходной степени. Не знаю, где он теперь, поет ли еще. Когда-то мечтал он о сцене, верил в свое призвание певца... Вишневецкую бесконечно любил и преклонялся перед ее личностью, перед ее школой, перед ее искусством фанатически.

Особо преданным Ю. Н. Вишневецкой человеком был также постоянный аккомпаниатор пению ее учеников, солистов и хора на концертах пианист Ювеналий Митрофанович Славинский, – Юва Славинский, как его называли друзья и знакомые. Сын провинциального земского деятеля, Славинский состоял студентом юридического факультета университета и одновременно занимался теорией музыки и композиции у Танеева. У Танеева он познакомился с Толей Александровым. От него именно Толя услышал о Вишневецкой и потом рассказал о ней мне. Славинский же порекомендовал меня Вишневецкой как ученика. Был Юва Славинский худенький, щупленький, невысокого роста, с каким-то остреньким, «мышьим» личиком и с внимательными, ввинчивающимися в вас, «искательными» глазками. Вишневецкую он высоко ценил как человека и как преподавательницу. Ученикам ее угождал всегда очень охотно.

Года через два после нашего первого знакомства Славинский женился на одной певице. Тогда же я узнал от Толи, что он метит в дирижеры. «Почему, собственно, в дирижеры?» – думал я и, признаюсь, как-то не представлял себе маленького, невзрачного и немного суетливого Юву Славинского дирижером.

Между тем мечта его осуществилась, но когда? – Уже после Октябрьской революции 1917 года. В первые же месяцы после революции наш худенький Юва выдвинулся в качестве организатора Всероссийского профессионального со-

юза работников искусств (Всерабиса), сделавшись председателем этого союза. Вскоре после этого он занял пост дирижера в Опере Зимина (помещавшейся в то время в огромном, сараеобразном театре Солодовникова, ныне – филиал Большого театра). Дирижировал он там, впрочем, лишь одной оперой: растянутой, тяжеловесной, но глубокой и по своему прекрасной, «Орестеей» Танеева. Ю. М. Славинскому как ученику С. И. Танеева всегда хотелось эту, до того никогда еще не шедшую, оперу поставить²⁶. И он-таки добился этого, что делает честь его характеру. Посетив одно из представлений «Орестеи», я убедился, что Ю. Славинский прекрасно справлялся со своей весьма нелегкой в этом случае задачей и как дирижер: хор, оркестр звучали превосходно, общая согласованность была отличная, впечатление от спектакля в целом оставалось сильное и выразительное.

Занятия музыкой у Вишневецкой, тянувшиеся года два, имели большое значение для меня не сами по себе (повторяю, настоящим певцом я не стал), а косвенно: своим психологическим воздействием. Ясная, простая мелодичная русская песня, основанная на несложном, глубоком и чистом человеческом чувстве, песня, интерпретированная Даргомыжским, Глинкой, Римским-Корсаковым (*не* Чайковским! – Чайковский – это невеселый композитор для интеллигенции), песня, в бодрый, здоровый дух которой вживался я, распевая ее под аккомпанемент Ю. Н. Вишневецкой, благотворно, целительно действовала на душу, облагораживая

и «выпрямляя» ее, в самом точном и полном значении этого слова.

То немногое, что усвоил я из уроков Ю. Н. Вишневецкой, не осталось совсем мертвым кладом. Я все-таки пел. Я даже довольно много пел. В России – в Ясной Поляне, под аккомпанемент Татьяны Львовны, в Крекшине и Телятинках у Чертковых²⁷, в Хатунке у Булыгиных²⁸, в Русанове у Буткевичей²⁹, в Москве – для «толстовцев», за границей – для участников разных конференций и конгрессов – в Чехословакии, Германии, Франции, Англии. И иногда, только *иногда*, когда под влиянием тех или иных благоприятных или вдохновляющих обстоятельств вполне пробуждалась душа и вся ее энергия, я воодушевлялся и пел неплохо, инстинктом и волей преодолевал все трудности вокального искусства: и вот летели то в публику русскую, то в иностранную чарующие звуки русской песни, песни ставшего столь любимым мною Глинки и других композиторов... Слушала меня будущая жена моя Аня Цубербиллер молоденькой девушкой, поощрительно улыбаясь мне. Мисс Слэд, англичанка, обратившаяся в индуску Миру, друг и сотрудница великого Ганди, открывала мне навстречу свои прекрасные, большие глаза. Французы, испанцы, немцы, венгерцы, болгары, чехи – подходили, улыбаясь, жали руки и благодарили за удовольствие. Русская песня делала свое дело.

Но. прошу прощения за это отступление от рассказа о московской моей жизни в 1906–1909 годах.

Упомяну еще, что у Ю. Н. Вишневецкой был сын – Николай Николаевич Вишневецкий. Он не жил с матерью, и я видел его только раз или два, когда он к ней заходил. Красивый, холодный на вид, представительный бритый гражданин. Актер. Вишневецкая часто беседовала с нами, учениками, о своем сыне, – всегда с какой-то почтительной любовью. Она верила в его исключительную одаренность как артиста и жаловалась на судьбу его в Художественном театре, в труппе которого он числился и в котором ему давали лишь самые незначительные роли. В «Синей птице», например, Вишневецкий (впрочем, по сцене именовавшийся Горичем) играл осли, вся роль которого состояла в одной коротенькой фразе да в том, что надо было где-то брыкнуть копытом. Я сам видел его в этой роли; «хорошо» ли, «плохо» ли он ее сыграл, было, по существу, безразлично. Система Художественного театра, при которой множество талантливых артистов годами сидело на ролях, подобных роли осли в фантастической пьесе Метерлинка, вероятно, совсем убила бы актера в Вишневецком, но он спасся тем, что организовал рабочую сцену на одной из окраин Москвы, сам играл на этой сцене ответственные роли – и имел большой успех у публики.

«Лучше быть первым в деревне, чем вторым (или пятнадцатым) в городе», – при подобных обстоятельствах эта претензия Цезаря вполне оправдывается.

Н. Н. Вишневецкий подвел меня к *впечатлениям театральным* в первомосковский период моей жизни. О Худо-

жественном театре я слышал еще в Кузнецке, от несколько старшего, чем я, земляка Яши Панова, учившегося в гимназии в Петербурге (там жила его замужняя сестра) и, кажется, там имевшего случай посетить несколько гастрольных спектаклей знаменитого московского театра. Именно в Кузнецке, в общественном собрании, на подмостках которого мы подвизались как любители, услышал я впервые от Яши Панова и имена столпов Художественного театра: Станиславского, Качалова, Книппер и других. В Томске я узнал о театре гораздо подробнее.

Естественно, что, очутившись в Москве, я решил при первой же возможности посетить Художественный театр. Но возможность эта долго не представлялась: дешевые билеты в кассу театра не поступали, их разбирало студенчество, долгими часами дежурившее в очередях на театральном дворе. Я подежурил как-то, но ничего не получил. Снова идти дежурить было скучно, не терпелось попасть в театр, и я решил, наконец, купить себе дорогой – за четыре рубля – билет в партер на «Царя Федора Иоанновича». Что же? Несмотря на все «безумие» моей траты, я не раскаялся. Впечатление от спектакля было огромное. Не было *минуты*, когда бы внимание не приковывалось целиком к тому, что происходило на сцене. Кусок *живой жизни*, да еще жизни в отдаленном и воскрешенном прошлом, развертывался передо мной на сцене. Правдивые типы, правдивые костюмы, правдивые декорации, искренняя, не вымученная, правдивая игра, прекрас-

ная жизненная речь целиком захватывали и полоняли душу. Москвин (Федор), Вишневский (Борис), Савицкая (Ирина) и другие персонажи «Царя Федора Иоанновича» и доньне живут во всей силе и свежести в моей памяти. Полная художественная гармония на сцене, никаких диссонансов... Ни одно зрелище не очаровывало меня до сих пор так, как очаровал Художественный театр.

Потом я увидал «Вишневый сад», «Синюю птицу», «Жизнь человека» Л. Андреева и другие спектакли. И о каждом из этих спектаклей я мог бы только повторить то, что сказал о первом, мною виденном. Каждый спектакль Художественного театра, без исключения, бывал целым *откровением*, вводившим зрителя в ту или иную область духа и жизни, раздвигавшим горизонты сознания, будившим мысль и чувство, бывал огромным и бесконечно ценным приобретением. Сколько раз позже я слышал споры о Художественном театре, критику его направления, насмешки над погоней за реалистичностью. Между тем, ни «Жизнь человека», ни «Синяя птица», ни ряд других спектаклей, как, например, «Анатэма» (которого я не видел), будучи спектаклями прекрасными, спектаклями общего для Художественного театра высокого уровня, вовсе не были спектаклями реалистическими: тут участвовала символика. Так что дело, видимо, было не только в реалистичности. Успех и великое значение Художественного театра в истории русского искусства обуславливались, как мне кажется, стремлением

его руководителей достигнуть *высшей, внутренней правды и жизненности искусства*, стремлением, которое могло осуществиться и *осуществлялось* в Камергерском переулке на деле только при условии отношения тех же руководителей театра *к театру вообще, как к священнодействию*. Этим, прямо-таки *религиозным* отношением Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и их сотрудников к своей задаче, и только этим отношением достигалось и то, что режиссеры, актеры, декораторы... и, без сомнения, даже гримеры, парикмахеры и суфлеры Художественного театра стремились всегда *к наивысшим возможным достижениям в своей области*, – и «сим побеждали». А другого такого театра в России *не было*. Всюду в других театрах актер, режиссер был просто слабым человеком, а не *иерофантом*, – всюду, но не в Художественном театре. Только в этот театр публика, особенно молодая, шла подлинно как в храм и уходила «вознесенная» – как из храма, благодарная театру за *все*, что он давал, независимо от направлений ставившихся в нем пьес.

Если в Художественный театр я входил всегда как в храм искусства, то все остальные театры Москвы, не исключая и замечательнейших – Большого и Малого театров, я посещал просто *как театры*.

Красота, роскошь, пышность и прихотливость постановки оперных и балетных спектаклей в Большом театре поражали, иногда ошеломляли провинциала, но не зажигали его

душу. Оркестр, хор и солисты, – особенно оркестр, – были на очень большой высоте, но исполнение их не покоряло всецело, без остатка, как в Художественном театре, а оставляло место для спокойного рассудочного восприятия и критики. Ансамбль, художественная гармония никогда не достигались в такой мере, как в Художественном театре. Все – то тут, то там торчал острый угол, обнаруживалась в той или иной мере (хоть и не грубая) неслаженность. Вот самые сильные впечатления Большого театра: балерины Коралли и Гельцер, балетный артист Мордкин, чарующей красоты сопрано и прекрасное вокальное искусство Неждановой, Собинов – Ленский, престарелый, но еще могущий за себя постоять Фигнер – Радамес, Петров – князь Гудал и верховный жрец в «Аиде», полная очарования декорация Коровина в «Жизни за царя». Ну а затем, разумеется, – блестящие красные, обшитые золотым позументом с черным орлами фраки и белые ботфорты аристократичных, «обакенбарденных» (как, может быть, выразился бы в этом случае Игорь Северянин) придворных лакеев. Пышный зал, залитый золотым и красным, с грандиозной и ослепительной в своем блеске хрустальной люстрой под расписным потолком... Все это было великолепно, но все это бледнело перед скромным внешним оформлением и бездонной внутренней, духовной красотой и привлекательностью Художественного театра.

Почти то же самое, что о Большом, мог бы я сказать и о Малом театре. Там были большие артисты, чувствовалась

старательность в постановках, но общего захвата и общего ансамбля, подобных ансамблю и захвату Художественного театра, не было. А иные спектакли, когда замечательных артистов – Ермолову, Ленского и других – заставляли играть в ничтожных пьесах какого-нибудь Рышкова или равного ему по бесталанности драматурга, оставляли зрителя совершенно холодным или вызвали досаду. А. П. Ленский, впрочем, потряс меня однажды глубоко драматичным исполнением роли епископа Никласа в «Борьбе за престол» Ибсена, а Ермолова восхитила и очаровала непринужденностью и естественной легкостью (которые на самом деле были, конечно, ничем иным, как предельной виртуозностью), игры в роли королевы Анны в «Стакане воды» Скриба. Южин (Сумбатов) играл тоже легко, свободно, технически безукоризненно, но подъема, взлета за всем этим у него не чувствовалось, творчество артиста развивалось на холодной, рассудочной основе. Слащавый и манерный Максимов, вечно припوماженный лакей на сцене, царил в ролях любовников. И неужто императорская сцена никого не нашла лучше его на это амплуа? При желании и понимании это всегда можно было сделать. Нашел же Художественный театр Качалова!

Как петербургских гастролеров видел я в одном благотворительном драматическом спектакле в Большом театре монотонную, немного гнусавящую, но тонкую артистку Савину, увлекательного комика-толстяка Варламова, замечательную комическую старуху Стрельскую. Повторяю, сила-

ми и возможностями императорская сцена обладала исключительными, но *сладить целого не умела*, – не умела в той, высшей степени, в какой это удавалось Художественному театру.

Театр Корша в Москве я знал очень мало. Если судить по одному-двум спектаклям, то это был театр не выше уровня любого приличного провинциального драматического театра.

В Опере Зимина можно было слышать хороших певцов (помню, я слышал баса Сперанского и тенора Дамаева в «Борисе Годунове», Габриэль Кристиан в «Царе Салтане»), постановочная часть стояла на значительной высоте, но конкурирование с Большим театром – кажется, проводившееся сознательно – все же не достигало цели.

Опереттой я мало интересовался и видел, помнится, только один спектакль в «Аквариуме», показавшийся мне по уровню не намного выше опереточных постановок в далеком нашем Томске.

Сильным впечатлением осталась в памяти игра гастролеровавшей в театре Зимина ровно-прекрасной по составу итальянской драматической труппы во главе с трагиком Джованни Грассо и замечательной «героиней», имя которой я забыл.

Посетив в первый же год своего пребывания в Москве Петербург, я видел в Александринском театре очень опытную артистку и обаятельную женщину на сцене Потоцкую, вели-

колепного, бурного пожилого «любовника» Далматова в качестве партнера Потоцкой, замечательного комика Петровского и ряд других прекрасных артистов. Мне даже показалось, что ансамбль Александринки стоял выше ансамбля московского Малого театра. И жизни на сцене было больше. Впечатления *единственности* спектакля, выносившегося неизменно из Художественного театра, однако, и тут не было.

Так или иначе впечатлений театральных было сколько угодно и давали они очень, очень много. Хотя пассивно, а снова жил я в театре – восторженно и горячо.

Особо живет в душе воспоминание о двух драматических спектаклях, виденных мною в университетские годы на каникулах в Томске в 1908 году. В театре «Буфф», что в парке на Александровской улице, шли гастроли «известной артистки» Е. Ф. Днепровой. Я видел гастролершу в старой пьесе Потехина, названия которой не помню, и в «Норе» Ибсена. Был потрясен и взволнован. Артистка, которой я никогда раньше не видал и имени которой не слыхал, оказалась превосходной. Остальные участники спектакля старались подтянуться, чтобы не испортить общего впечатления. Но надо сказать, что на этот раз дело было не только в качестве спектакля, а главное – в личном обаянии артистки-гастролерши. Днепровая была красавицей на сцене – красавицей, в которой пленяли не только тонкие черты лица, прекрасные глаза, звучный голос и полные изящества манеры, но также

излучение какой-то внутренней прелести, обаяние личности – бесконечно благородной, глубокой и чистой. Выражением идеальной, снящейся только поэтам целомудренной женственности казалась фигура приезжей артистки. Чарующей искренностью, тонкостью, соединенной с простотой, и силой проникнута была вся ее игра. Провинциальная актриса? Да. Но провинциализм и всякая пошлость умирали за много верст перед приближением к ней. Талант? Да. Но также и женщина особого призвания, особой судьбы. Мадонна на сцене. Мадонна. Перед которой и Потоцкая, и даже Германова из Московского художественного театра и все другие артистки, которых я до тех пор видел, были только женщины. Все кругом просветлело, и все мы очистились духовно лишь оттого, что подышали в течение нескольких часов одним воздухом с этим пленительным существом, именовавшимся Евелиной Федоровной Днепровой.

Никогда я не хаживал представляться молодым актрисам за кулисы, целовать им руки и выражать свое восхищение их игрой. А тут – пошел, поцеловал и выразил. Да нет, я не говорил о «восхищении» по отношению к *ней*, это было бы пошло: я только благодарил. И эта благодарность была с благородной, покойной благосклонностью принята сидевшей откинувшись в кресле в своей уборной и задумчиво, и как будто даже немного грустно глядевшей на меня нарядной красавицей-артисткой... ее царственная головка слегка склонялась на руку, опиравшуюся на ручку кресла.

Мы обменялись двумя-тремя фразами и расстались, но я не забывал этого мгновенья, этого чудного мгновенья, когда

Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты!..

Шли годы. В Праге, столице молодой Чехословацкой республики, родившейся из Первой мировой войны, подвизалась группа артистов Московского Художественного театра, застрявшая, в связи с событиями, за границей. Оказавшись волею судьбы там же, я жил за городом и редко бывал в театре – и русском, и чешском. Но знал, что в русской труппе имеется артистка Днепровы, выступающая на второстепенных ролях – например, в роли свахи в «Бедности не порок» Островского. Это, конечно, не могло быть то ослепительное явление, которое я видел в Томске и которому дано было царствовать на сцене. Ясно, что вопрос шел об однофамилице. «Артисты и артистки, к тому же, – думал я, – так любят присваивать себе вымышленные имена! Без сомнения, и тут идет дело о чем-нибудь подобном...»

Каково же было мое изумление, когда еще лет через десять или двенадцать, уже в 1930-х годах, я совершенно случайно узнал, что «маленькая» (как я ее мысленно называл) *пражская* Днепровы, даже и взглянуть на которую я ни разу не полюбопытствовал, – это и есть *та самая*, знаменитая

когда-то по всей русской провинции артистка Днепровая, которая привела меня в такой восторг в Томске! И как же было не устремиться к ней снова?!

Душе настало пробужденье,
И вот опять явилась ты.

Но, Боже, какое превращение! Я увидел маленькую, сухонькую, совершенно седую старушку, зябко кутавшую свои плечи в пуховый платок. Черты лица, иссохшего и потемневшего, казались не столько тонкими, сколько обострившимися. Беспокойным светом горели на нем еще живые или, вернее, быстрые темные глаза. Любезная улыбка отдавала слащавостью. Голос потерял свою прежнюю мелодичность, как ушла безвозвратно и плавность движений, заменившись какой-то нервной порывистостью и даже суетливостью... Но все же, все же это была она, Днепровая!

Преждевременно, как мне казалось, состарившаяся артистка еще играла на сцене. Первой ролью, в которой я увидел ее после Томска, была роль *бабушки* в драматической переделке гончаровского «Обрыва». Играла Днепровая-старуха прекрасно, тонко, трогательно, покоряя зал обаянием своей игры, своей неповторимой индивидуальности, но прежней гармонии и спокойной самоуверенности в исполнении не хватало: то голос срывался, то одно слово подменялось другим, то, некстати пошатнувшись или запнувшись на

сцене, артистка нервно цеплялась тонкими, сухими пальцами за косяк двери, за угол стола. Незнающему приходилось только догадываться, чем она была раньше.

От других пражских артистов я узнал, что Днепровы, в сущности, всю жизнь была одинока. В ранней молодости она вышла замуж за одного видного общественного деятеля г. Харькова, откуда и сама происходила, но скоро разошлась с мужем и после того отвергала все решительно ухаживания и предложения со стороны бесчисленных своих воздыхателей и поклонников. По какому-то недоразумению она не получила приглашения на императорскую сцену и так – все одна – колесила вдоль и поперек необозримую матушку Россию. По-видимому, пережитая ею глубокая личная драма и сообщала особый, поднимающий над повседневной пошлостью характер ее игре.

Я сказал Евелине Федоровне все ласковые слова. Я сказал, что в те годы, как я впервые встретился с ней, я только двум женщинам целовал руки с таким же благоговением, как ей, – вдове Достоевского и жене Толстого. Сказал, что никогда не забывал о ней, что счастлив с ней снова встретиться. И она с царственной благосклонностью приняла это сердечное излияние, это почти объяснение в любви – одинаково запоздалое и для нее, и для меня.

В годы Второй мировой войны Е. Ф. Днепровы скончалась в Праге. Отблеск того бессмертного, что было в ней, живет по-прежнему в моей душе.

Глава 4

Коллекционерство

Собирание автографов знаменитых людей. – Что написал мне И. И. Ясинский (Максим Белинский). – Заочное «объяснение в любви» артистке Мравиной. – Встреча с трагиком Мамонтом Дальским. – Как получил я автографы Шалыпина, Собинова, Савиной и других артистов и артисток. – У драматурга и актера князя А. И. Сумбатова (Южина). – Автограф Чехова. – Посещение хамовнического дома Л. Н. Толстого и письмо Льву Николаевичу. – Щедрый дар директора консерватории М. М. Ипполитова-Иванова. – У вдовы Достоевского. – Знакомство с петербургским коллекционером Ф. Ф. Фидлером и разочарование в собирательской деятельности.

Я рассказывал, как я однажды просил Андрея Белого об автографе, но не упомянул, что этот шаг был лишь, так сказать, единичным проявлением целой, сознательно проводившейся, «программы действий». А между тем я должен был бы, собственно, сказать об этом еще при описании пребывания своего в Томске, в гимназии. В самом деле, еще с тех пор захватила меня страсть коллекционирования автографов знаменитых людей. В первые годы пребывания в Москве я еще продолжал отдаваться этой страсти.

Мысль о собирании автографов подал мне едва ли не Коля Калугин, тот мальчик, с которым в пансионе гимназии мы устраивали кукольный театр и который затем посетил меня как бывший «белый» офицер в Москве. Дело в том, что в Петербурге, где Коля учился до перевода его отца на службу в Томск, у семьи Калугиных, как я уже упоминал об этом³⁰, были кое-какие знакомства в литературном мире. Калугин-гимназист показал мне одну-две рукописи петербургских литераторов, объяснил их ценность и тем пробудил интерес к рукописям-оригиналам. Известно, что собирание автографов имеет, во-первых, историко-литературное, а во-вторых, психологическое основание. Я в то время заразился, главное, психологическим интересом в деле коллекционирования автографов: *собственный почерк* известного писателя или артиста, мысль, что голова его склонялась именно над данным листом бумаги, что глаза его следили за тем, как бежала вот эта строчка, а рука выводила ее, действовала на меня магически, соединяя непосредственно с живой ли еще, с усопшей ли уже личностью знаменитости. Я любил и до сих пор люблю автографы.

Калугин подарил мне визитную карточку поэта-переводчика Д. Л. Михаловского с его собственноручной надписью. Через учившегося в Петербурге кузнечанина Яшу Панова или, вернее, зятя Пановых педагога Троицкого я достал автограф, и даже два автографа, И. И. Ясинского (Максима Белинского). Теперь, пожалуй, имя Ясинского уже забыто.

Между тем это был очень популярный в свое время и плодовитый романист и рассказчик. Он вписал также свое имя в историю русской общественности, первым из видных русских литераторов, вместе с Валерием Брюсовым, примкнув к Октябрьской революции. Седой старик. Кудлатая такая голова, вроде как у Карла Маркса. Я получил от Ясинского два листка бумаги, на которых собственным, красивым почерком писателя выведены были изречение и стихи, с подписями.

Я храню в памяти и изречение, и стихи.

Изречение (на одном листке) было такое: «У нас литература – выше жизни». Гимназистом я долго ломал голову над этим изречением и, кажется, так до конца его и не понял.

Стихи же (на другом листке) были следующие:

Летел комар,
И вдруг – пожар.
Он – на пожар,
А там – угар
И страшный жар:
Сгорел комар!

К сему приписка: «Нравовучение выведите сами».

Когда приезжали в Томск знаменитые артисты, я обращался с просьбой об автографах и к ним. При этом жульничал: выражал в письмах восторги от пения или игры артистов, на самом деле не видевши их ни разу и т. п. На такое

мелкое жульничество у нас в пансионе, с легкой руки Мефистофеля-Махони, установился взгляд как на своего рода молодечество: «все позволено», лишь бы выиграть и добиться своего!.. Расфантазировавшись, я написал однажды посетившей Томск артистке императорских театров певице Мравиной, которую никогда не видел и не слышал, объяснение в любви, присовокупив просьбу о присылке фотографии с автографом. Адресовал на гимназию. И что же? – Ответ – открытка с портретом – пришел, но попал не в мои руки, а в руки хитрой и злой лисы-инспектора гимназии Курочкина, цензуровавшего почту. «Куроцап» призвал меня в канцелярию, долго выпытывал, что я писал Мравиной, обрушил на меня гром и молнии своего гнева за неслыханную распущенность (мне было лет 15–16) – «переписку с артистками», наконец прогнал меня с позором, а открытку Мравиной, не показав мне, уничтожил. Меня всю жизнь интересовало: что написала мне Мравина?!

Ярко стоит в моей памяти фигура знаменитого трагика (в дни Октябрьской революции выказавшего себя в оригинальной маске анархиста) Мамонта Викторовича Дальского, давшего в Томске несколько спектаклей со своей собственной труппой. Я виде его в «Отце» Стриндберга. Впечатление было очень сильное. Дальский царил в труппе, состоявшей из посредственностей. В игре его были сила, подъем, глубина, четкость, изящество, мастерство. *Таких* трагиков Томск еще не видел. Переполненный огромный зал Общественного со-

брания был потрясен.

Когда после бесконечных рукоплесканий и вызовов публика уже расходилась, я – в гимназическом мундире – отправился за кулисы. Дальский один сидел в своей уборной. Только что я видел его на сцене как энергичного, нервного, представительного и подвижного полковника, а теперь передо мной сидела на стуле, мешковато опустившись, грузная фигура в штатском, темном, широком пиджаке и с расстегнутым воротником рубашки... Усы полковника и вообще грим были уже отстранены. На лице артиста лежала печать утомления. И только огромные, черные, выразительные глаза горели еще, как зарево, отражением бешеного внутреннего огня, незадолго перед тем сжигавшего артиста на сцене.

– Что вам угодно? – спросил Дальский, не двигаясь и не подымаясь со стула.

– Позвольте поблагодарить вас за вашу прекрасную игру. Вы замечательно играли!..

Дальский смотрел на меня испытующим, пристальным и тяжелым взглядом.

– Замечательно! – прибавил я еще раз.

– Спасибо, – процедил сквозь зубы артист. – Вы в каком классе учитесь?

– В шестом.

– И любите театр?

– Да, люблю.

– Ну, очень рад. До свиданья.

– Извините, я хотел обратиться к вам с большой просьбой.

– С какой же?

– С просьбой подарить мне ваш портрет с надписью, на память.

Дальский улыбнулся – одними глазами.

– Хорошо, – сказал он, – приходите на завтрашний спектакль, и я дам вам портрет.

Я горячо поблагодарил и откланялся. А назавтра. гимназическое начальство не пустило меня в театр. Шел «Кин» («Гений или беспутство»). С точки зрения гимназической цензуры, старая драма считалась предосудительной. И, на мое несчастье, я и не увидел великого артиста в роли Кина, и не получил – на память – его портрета с надписью, вероятно, уже приготовленного для меня.

В Москве, задавшись целью собрать подписи под очень популярной в то время фотографической группой артистов Большого театра, я обошел изображенных на этой фотографии Собинова, Севастьянова, Габриэль Кристман, Дейша-Сионицкую, Синицину, капельмейстера Авранека и др. певцов и певиц, и все они подписали группу. Меня очень занимало заглянуть хотя бы одним глазком в обстановку личной, частной жизни артистов, хотя... лишь немногие из них, при всей наружной любезности, допускали незнакомого молодого студента-собиранителя автографов дальше передней. В частности, Собинов, живший в гостинице «Париж» на Тверской ул., объяснялся со мной через коридорного, и я его да-

же не видел. Из-за двери было слышно лишь, как он разучивал что-то новое, подыгрывая себе одним пальцем на фортепьяно; голос его звучал на редкость убого и деревянно, вернее – совсем не звучал, и если бы я не знал, что значит «разучивание партии», я никогда не поверил бы, что это голос знаменитого певца.

Шаляпина, тоже снятого в группе артистов Большого театра, в Москве в то время не было. Я утешился тем, что, узнав в конторе Императорских театров его адрес, послал ему открытку, изображавшую его в роли Олоферна в «Юдифи» Серова, выразил при этом свое восхищение его искусством (хотя до тех пор ни разу его не слышал) и просил, подписавши открытку, прислать мне ее обратно. Шаляпин снабдил Олоферново изображение милой *именной* надписью и вернул мне.

Так же не видя знаменитую исполнительницу цыганских романсов А. Д. Вяльцеву, я получил ее подпись на открытке с фотографией через ее горничную в гостинице «Славянский базар» на Никольской, где «дива» обыкновенно останавливалась. Вяльцева, впрочем, извинилась, что не может принять меня, так как «в дни своих выступлений она никого не принимает». А вечером в тот день действительно предстоял концерт А. Д. Вяльцевой в Москве.

М. Г. Савину я дождался при выходе ее из Большого театра после бала-спектакля в пользу инвалидов, – дождался у тоже знаменитого в своем роде заднего, артистическо-

го подъезда театра, у которого обычно поклонники и поклонницы поджидали своих «кумиров». Знаменитая артистка, очень важная и нарядная дама, вышедшая с поднесенным ей на спектакле огромным букетом белых хризантем, сначала было не хотела подписывать имевшейся у меня открытки с изображением ее в роли Анютки из «Власти тьмы» Толстого («Неужели вы не нашли ничего лучшего?!»), но потом все же подписала да в придачу подарила еще мне один цветок, вынув его из своего букета: пышную белую хризантому я долго хранил засушенной в одной из книг.

Исключительно любезно принял меня А. И. Южин (князь Сумбатов) в своей переполненной театральными реликвиями квартире в Большом Палашевском (ныне Южинском) переулке, и это особенно удивительно потому, что я никем не был ему рекомендован. Просто он был очень хороший и доброжелательный человек – и любил молодежь. Это я потом узнал – и из личных впечатлений от наших многочисленных позднейших встреч, и из рассказов других лиц. (Кстати, не поминал я никогда Александру Ивановичу об этой нашей *первой* встрече: как-то неловко было опять превращаться в его глазах в наивного студента-коллекционера.) Подарил мне кн. А. И. Сумбатов полную черновую рукопись когда-то популярной его комедии «Невод». Я расспрашивал его о том, как он пишет, и он подробно мне рассказывал. Сказал, между прочим, что обыкновенно у него находится «в работе» несколько вещей сразу. Кроме рукописи подарил мне также

свою брошюру о театре и об искусстве актера – разумеется, с авторской надписью.

О. Л. Книппер-Чехова, которую я посетил два или три раза в ее скромной частной квартире в Благовещенском переулке на Тверской, подарила мне, по моей просьбе, не более и не менее, как собственноручное письмецо А. П. Чехова к одному из его братьев. Письмецо написано из деревни в город. Чехов радуется весне. «Гиацинты цветут. Пруды полны. Жаль, нет лодочки». Эти три коротенькие фразы помню дословно. – Какой я дурень! Недооценил достоинства автографа одного из тончайших и замечательнейших мастеров русского слова: года через полтора-два променял этот автограф обожавшему Чехова сибирскому поэту Г. А. Вяткину на письма Арцыбашева и еще какого-то литератора. Правда, я видел *страстное желание* Георгия Андреевича получить чеховский автограф: это-то и ослабило мою позицию как коллекционера-собственника. Ну, буду утешаться тем, что бесценный автограф попал в хорошие руки!..³¹

Попытался я тогда же, в первый год моего пребывания в Москве, достать и автограф Л. Н. Толстого. Это оказалось нелегко, но возможно. Собственно, визит к воротам и в парк хамовнического дома Л. Н. Толстого был одним из первых начинаний моих и Толи Александрова в Москве. Дом тогда пустовал, и дворник, должно быть, куда-то отлучился. Мы с не меньшим трепетом, как от одного кремлевского собора к другому, походили по двору, по парку, поднялись даже на

маленькую террасу со стороны парка и заглянули в окошко: портрет Генриха Гейне кинулся нам в глаза на одной стене. Было так странно, необычно и радостно сознавать, что мы видим дом великого Толстого!.. И мог бы я тогда поверить, если бы мне сказали, что в свое время я стану в своем роде «хозяином» этого хамовнического дома³², – конечно, уже по отходе великого человека в другой мир!..

За автографом же Толстого я ходил один, позднее. Парадную дверь открыла мне на звонок невысокая, пожилая дама в зеленом бархатном платье и с длинной золотой часовой цепочкой на груди. Это была, как я установил лишь через четыре года, только тогда с ней *познакомившись*, супруга С. Л. Толстого – гр. Мария Николаевна Толстая, рожденная гр. Зубова, человек очень милый и добрый. Узнав, что я хочу просить Сергея Львовича об автографе Льва Николаевича, она сказала, что Сергея Львовича нет дома, и попросила меня зайти в другое время, – помнится, даже назначив для этого час.

Зашел. Был – с сухой, аристократической вежливостью – принят милейшим и добрейшим гр. С. Л. Толстым в его кабинете и получил совет: написать самому Льву Николаевичу, если я хочу получить его автограф. Я откланялся и написал Льву Николаевичу, позволив себе сослаться на совет его сына обратиться к нему.

Без сомнения, именно *эта ссылка* помогла успеху моего дела. Сначала я получил отказ, изложенный дочерью вели-

кого писателя кн. М. Л. Оболенской: отказ мотивирован был тем, что Лев Николаевич «никогда не подписывает» приложенного мною снимка с того его портрета работы Репина, где он изображен босым. Я тотчас послал в Ясную Поляну другой портрет Льва Николаевича – для подписи. И через два-три дня получил его подписанным.

...Позже, уже после смерти Льва Николаевича, перебирая по какому-то поводу в Ясной Поляне его старую корреспонденцию, я наткнулся на свое собственное письмо 1906 года с просьбой об автографе. Из ложного стыда я уничтожил это письмо. Конечно, я не напоминал Льву Николаевичу о том, как я отягощал его когда-то просьбой об автографе: у него достаточно было забот и интересов и без этого. Но и ни С. Л. Толстому, и ни М. Н. Толстой я тоже никогда не решился напомнить о своих первых визитах в Хамовники: стыдно было. Они же через четыре года уже не узнали меня.

Кто меня богато наградил в Москве автографами, и своими, и чужими, так это композитор Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов, тогдашний директор Московской консерватории. Его попросила однажды об автографе для меня А. Я. Александрова-Левенсон, все мечтавшая о приеме ее в число преподавателей консерватории и имевшая по этому поводу несколько свиданий с Ипполитовым-Ивановым. А тот заявил, что в молодости он сам собирал автографы, и просил прислать меня к нему. Когда я явился в маленький кирпичный особнячок с большими окнами в углу Арбатской

площади, где квартировал директор консерватории, – с виду – маленький, круглый мужичок, с небольшой, неровной бородашкой, с остриженной «в кружок» головой и с добродушно-лукавой усмешкой, – хозяин принял меня не только любезно, но и дружески. Вынимая из своих запасов один автограф за другим, он подарил мне ряд писем Римского-Корсакова, Кюи, Аренского, певца Фигнера, певицы Фелии Литвин (знаменитой исполнительницы женских ролей в вагнеровских операх) и других музыкальных знаменитостей. Да, помнится, приглашал и в будущем наведываться к нему за автографами, чем я уже не воспользовался.

Из музыкальных знаменитостей у меня между прочим еще с томских времен хранилось также собственноручное письмо П. И. Чайковского, подаренное мне А. Я. Александровой-Левенсон. Из всего этого читатель видит, что мое рукописное собрание начало не на шутку разрастаться и понемногу набывать известной ценности и значения. Так оно и было.

Скажу поэтому, забегая вперед и чтобы уже кончить с автографами, о том, какова же была судьба этого собрания.

Ставши «толстовцем», я осуществил «отречение» от всех своих прежних, «мирских» интересов, а также и от всего «лишнего» в принадлежащей мне собственности. Именно тогда я между прочим уничтожил письмо своей старшей сводной сестры Аграфены Федоровны Казанцевой, – с подробным перечислением довольно большого количества на-

ших предков и родственников с отцовской стороны: «К чему христианину тщеславиться предками, родными и знанием их имен?» — думал я, кидая письмо в печь. Тогда же я пожертвовал все свое собрание автографов Томской городской общественной библиотеке. Уцелело ли оно при всех политических переменах в России и в Сибири и где находится, не знаю.

Но неужели я не попытался достать автограф и другого, равноценного Толстому колосса русской литературы — Достоевского? Пытался. И вот каким образом.

На Пасху 1907 года отправился я из Москвы на несколько дней в Петербург: познакомиться со столицей России. В Петербурге я гостил у Моти Флеера, студента юридического факультета Петербургского университета. Достоевский тогда царил в моей душе: Толстого я еще не знал надлежащим образом. О впечатлении, произведенном на меня образом Кириллова в «Бесах» Достоевского, я уже говорил. Но увлечение мое Достоевским началось даже и не с «Бесов». Первым крупным его произведением, сразу и целиком покорившим меня, был роман «Преступление и наказание». И не столько мир идей Раскольникова, вдохновивший Ницше, захватил меня, сколько глубокая и тонкая психология как главного, так и всех остальных героев и героинь романа. Впечатление было поистине колоссальное. Почти такое же впечатление произвел затем «Идиот» (мой любимый роман у Достоевского) и «Братья Карамазовы». Все было колоссально,

грандиозно. Все разворачивало перед воображением и умом новые миры, сообщало новые понятия, сводило с необыкновенными, глубокими и ищущими, типами-людьми. Настоящий Микеланджело в литературе – наш Ф. М. Достоевский. И его, Микеланджело, «Рабы» в Лувре – это Иван и Дмитрий Карамазовы и другие герои Достоевского, ведущие ту же титаническую борьбу с обступающей и охватывающей их со всех сторон косной материей.

Очутившись в Петербурге, я считал своим долгом прежде всего посетить Александро-Невскую лавру и преклонить колена перед могилой великого писателя. Не мог я также отказаться от горячего желания засвидетельствовать свое почтение его благополучно здравствовавшей вдове. Разыскал ее квартиру – помнится, на Мойке. Подал через горничную свою визитную карточку. Вернувшись, горничная сообщила, что, хотя барыня собралась в гости, но все же примет меня. – «Пожалуйте в гостиную!..» И вот я – в гостиной вдовы Ф. М. Достоевского. Гостиная, большая квадратная комната, убрана изящно, хоть и без особой роскоши: мягкая мебель, рояль, множество фотографий, лицо Достоевского мелькает на них, большой портрет императора Александра II над роялем. Скоро появляется Анна Григорьевна Достоевская (рожденная Сниткина), полная, представительная, седая дама в изящном сером платье и в черной наkolке. Умное, с мягкой, любезной улыбкой лицо. Быстрая походка.

– Здравствуйте! Я сейчас же вспомнила, прочитав ваше

имя на визитной карточке, что вы, очевидно, являетесь автором вышедшей в Томске статьи о первой свадьбе Федора Михайловича. Не правда ли, я не ошиблась?

Отвечая утвердительно, я с глубоким внутренним волнением поцеловал руку подруги жизни великого человека.

Анна Григорьевна, добрый гений Достоевского во вторую половину его жизни и заботливая охранительница его литературно-архивного наследия после его смерти, приняла меня в высшей степени приветливо, хотя и спешила на какой-то званый вечер. Рассказывала о своих занятиях, о своей семье.

– Сын мой Федор Федорович не проявляет литературного дарования, но у него есть маленький сынок, мой внучек Федя... да, да, тоже Федор Федорович! Так, вот, может быть, этот Федор Федорович младший пойдет по стопам своего деда.

Узнав, что я хотел бы посвятить себя занятиям литературой, предостерегающе заметила:

– Только не увлекайтесь политикой! Как только увлечетесь и уйдете в политику, так с литературой будет покончено. Занятие литературой требует всего человека, а политика тоже поглощает – значит, надо выбирать либо то, либо другое. Я уже знаю один такой случай: в одной знакомой семье был молодой человек, очень одаренный в литературном отношении. Все ожидали от него больших достижений. И что же? Увлекся политикой, и так и пропал, и ничего из него не вышло. Конец!.. Так вот, смотрите, будьте осторожны!

И Анна Григорьевна погрозила мне пальчиком.

Две жены наших величайших писателей предостерегали меня против идейных увлечений, отвлекающих от чисто литературной и культурной работы.

– Смотрите, Валентин Федорович, не продешевили ли вы, ставши «толстовцем»! – говорила мне, уже после смерти Льва Николаевича, Софья Андреевна Толстая. – Вы могли бы работать и много сделать в любой области культуры, а вы поступили в «темные»!..

«Темными» Софья Андреевна называла именно «толстовцев». Название это дано было им, когда Толстые жили еще в Москве, в отличие от «светских» посетителей хамовнического дома.

Не послушался я умных русских женщин! Дал себе увлечь и «толстовству», и многому другому... Только верю, что решал тут не я один, а решал также и Хозяин.

Я был счастлив, что вижу вдову Достоевского и говорю с ней. Положа руку на сердце, могу здесь засвидетельствовать, что все «корыстно»-коллекционерские соображения, собственно, были от меня очень далеки в эти минуты. Но все же я упомянул о своем желании получить – «на память» – какой-нибудь, хоть самый ничтожный, автограф Федора Михайловича, хоть одну строчку... Как оказалось, удовлетворить этой просьбы Анна Григорьевна не могла: все решительно рукописи Достоевского она отвезла в Российский Исторический музей в Москве, где в ее распоряжение предо-

ставлена была одна из двух башен, выходящих на Красную площадь.

– Если вам интересны рукописи Федора Михайловича и вообще мое собрание материалов о нем, то пойдите в Исторический музей и попросите показать вам комнату Достоевского, сказавши, что вы являетесь от меня. А на память я подарю вам составленное мною описание этого собрания: книг, рукописей и предметов.

Анна Григорьевна поднялась, вышла в другую комнату и затем вернулась с объемистой книгой большого формата в руках. Это и было ее описание московского собрания. Она вручила мне его, снабдив предварительно любезной посвятельной надписью на титульном листе. А затем распрощалась со мной, извинившись, что действительно должна уезжать, так как дала добрым друзьям твердое обещание быть у них.

Очень, очень мне дорога была эта встреча. Конечно, по возвращении в Москву я не преминул осмотреть ценнейшее собрание материалов о Достоевском в башне Исторического музея: перелистывая подлинные рукописи романов Федора Михайловича, будто побывал вблизи его самого.

Не помню, в эту или в другую мою поездку в Петербург посетил я также известного собирателя автографов, друга всех петербургских литераторов, переводчика русских поэтов на немецкий язык Федора Федоровича Фидлера, все с затаенной надеждой выскрести у него, в обмен на другие, ав-

тограф Достоевского. Ф. Ф. Фидлер был, собственно, по профессии учитель немецкого языка в какой-то средней школе, но все его интересы лежали около литературы. Петербургских писателей он собирал у себя на ужины – кутежи в дни своих именин и рожденья. «Все побывали тут» – и, конечно, каждый оставил обязательному хозяину то или иное воспоминание в виде автографа. Впрочем, не только в виде автографа. У Ф. Ф. Фидлера хранилась, например, толстая, суковатая палка, которой Салтыков-Щедрин побил занозистого критика «Нового времени» Буренина. Хранились у него также цветы с могил писателей (он подарил мне несколько листочков с могилы Гейне на Монмартрском кладбище в Париже) и другие литературные реликвии. Эта любовь обрусевшего немца, коренастого, плотного, красноликого, с бородкой клинышком, злоупотреблявшего, говорят, пивом, к *русским* писателям и *русской* литературе, была в самом деле трогательна и уважения достойна.

Ф. Ф. Фидлер встретил меня, как сотоварища по увлечению, очень любезно и открыл мне для обозрения бесчисленные свои шкафы, шкафики, шифоньерки, комоды, выдвижные ящики письменных столов: все было полно автобиографиями русских писателей, рукописями произведений, письмами, афоризмами на листках, альбомными записями, подписями под портретами. Нашлись автографы и Толстого, и Достоевского (среди автографов последнего помню его деловое письмо к поэту-переводчику и деятелю Литературного

фонда П. И. Вейнбергу). На *мену* Ф. Ф. Фидлер не согласился: мена, оказывается, шла бы вразрез с его коллекционерским принципом, — принцип же этот состоял... в неистребимой и ненасытимой жадности или недостижимой и неутолимой потребности *иметь все*, то есть сосредоточить у себя — в идеале — *все решительно рукописи и автографы всех решительно русских писателей*. Это уже походило у опившегося пивом добродушного и почтенного немца на манию, на сумасшествие. Право, мне стало немного жутко возле него, когда я выслушал это признание.

Между тем, достиг Ф. Ф. Фидлер действительно многого. Тысячи номеров составляли его коллекцию, тогда как в моей числились только десятки.

Эта встреча с успешным конкурентом по коллекционерству немного неожиданно для меня самого произвела, однако, особое, *отрезвляющее* впечатление и поставила меня перед вопросом о том, да стоит ли вообще коллекционировать?

«Ну, хорошо, — говорил я себе, — соберу я столько рукописей, сколько их собрал Фидлер, — а потом что? *Не собранного* останется все же еще очень много, а мои силы, интерес и внимание уйдут чуть ли не целиком на эту неблагодарную работу собирания!.. Вот он, Ф. Ф. Фидлер, великий коллекционер, стоит передо мной: ничего не создавший оригинального в литературе и только гонявшийся за теньями других знаменитостей, ему — под 50, он отяжелел, глаза — утомленные, на лице — выражение скуки и равнодушия, рукопи-

сей в его владении так много, что он уже устал им радоваться; теперь гораздо больше, чем автографы, занимают его пиво и пирушки; дешевое тщеславие владельца «огромной» и «чрезвычайно ценной» коллекции удовлетворено, а дальше. дальше – «ехать некуда»!.. Что же, и тебя прельщают эти лавры и эта судьба?!..»

Нет, они меня не прельщали.

Я содрогнулся внутренно, представив себе, что и мне, с моим крохоборством-коллекционерством, предстоит обратиться в сонного и истощенного духовно Ф. Ф. Фидлера. Точно луч солнца проник в сознание, и под его воздействием увлечение мое коллекционерством начало быстро таять, как снег...

«Не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Несколько более углубленная оценка исключительных успехов коллекционера Ф. Ф. Фидлера отвратила меня от увлечения коллекционерством. Оно утихло, а потом, как я уже сказал, вместе с общим моим духовным просветлением уступило свое место другим занятиям и интересам.

Глава 5

Первое знакомство с Л. Н. Толстым и его единомышленниками

«Исповедь» и другие книги Л. Н. Толстого. – Новый духовный путь. – Первая поездка в Ясную Поляну 23 августа 1907 года. – У Чертковых в Ясенках. – Болгарин Христо Досев и другие «толстовцы». – Снова в Ясной Поляне. – Выходить из университета или нет? Советы секретаря великого человека и самого великого человека. – Вопрос о переселении к духоборам в Америку. – Н. Н. Гусев в качестве «охраняющего врата». – Еврейская молитва. – С Америкой покончено...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.